

А.С. Хомяков Светлое Воскресенье (повесть, заимствованная у Диккенса).

## Глава I

Проходя по.... улице, нельзя не заметить большой вывески с полуистертою надписью: "Контора маклера Скруга и Марлева". Хотя, впрочем, Марлева уже семь лет как не было на свете, но его товарищ забывал до сих пор стереть имя покойного с вывески, и контора продолжала по-прежнему сlyть под именами обоих. Сам Скруг нередко откликался даже на то и на другое имя.

То был старый, жадный, ненасытный скряга, неутомим, как камень, молчалив, как рыба, скрытен и нелюдим, как улитка. Отсутствие всякой теплоты душевной отражалось во всем его существе и, казалось, оледенило его старое, вытянутое лицо, провело ранние морщины по впалым щекам, сделало его походку неповоротливой и тяжелой. Маленькие красноватые глаза, тонкие синие губы, сиплый и грубый голос дополняли портрет нашего скряги. Его волоса и брови были седы, словно их занесло снегом, и где бы он ни был, куда бы ни шел, всюду от него так и веяло холодом.

Никто никогда не останавливал его на улице с веселым вопросом: "Здоровы ли вы, Г. Скруг? когда же вы ко мне?" Никогда нищий не подходил к нему; никогда ребенок не осмеливался спросить у него: "Который час, сударь?" Никто и никогда не попросил его указать себе дорогу; даже собака слепого сторонилась от него, — отводила к уголку своего хозяина и, махая хвостом,казалось, хотела сказать: "Никогда не видывала я такого сердитого господина и с таким дурным глазом". Но что за дело было до всего этого нашему маклеру? Он умел жить только про себя и для себя одного.

Однажды, накануне Светлого Воскресенья, он сидел за счетами в своей конторе. Святая была ранняя, было холодно и туманно, и сам Скруг часто прислушивался, как прохожие хлопали руками и топали о тротуары, чтобы согреть ноги. На башне только что пробило шесть часов, и уже становилось темно. Скруг сидел за большим столом, возле печки, и нередко приподнимался, чтобы согреться у догоравшего огня; а бедный писарь, сидевший у окна за большими конторскими книгами и не смевший сойти с места, отогревал или, скорее, обжигал свои окостенелые пальцы на стоявшем перед ним сальном огарке.

- Поздравляю вас с завтрашним праздником, дядюшка! — вскрикнул вдруг веселый голос. То был его племянник.
  - А! — сказал маклер. — Всё пустое, — что за праздник?
  - Светлое Воскресенье пустое, дядюшка? Вы, верно, сказали не подумавши, — отвечал племянник.
  - Не мое дело, — сказал Скруг. — Праздник! да какое право ты имеешь праздновать? Разве ты так разбогател?
  - Ну, а вы какое имеете право быть таким сердитым; вы разве обеднели?
- На это Скруг не нашелся ничего отвечать и повторил свое: "А!"
- Будьте повеселее, дядюшка!
  - Да с чего мне быть веселым? Разве с того, что живу в таком мире дураков? Празднуют праздники, когда к этим праздникам подходят все денежные расчеты, и на поверку выходит, что человек годом стал старше, а в кармане у него ни копейки не прибыло. Если бы у меня была своя воля, — продолжал он, — я бы всех вас, гуляк и празднующих шутов, повесил на одну осину.

- Дядюшка!
  - Племянник!
  - По крайней мере, оставьте других в покое, если сами не хотите знать никаких праздников, и даже Светлого Воскресенья!
  - А много хорошего в этом праздновании, и много оно принесло тебе пользы?
  - Приносит оно пользу или нет, но нельзя не любить это веселое время, уже неговоря, что оно связано со всем, что есть самого святого в нашей вере. Это одно время в круглом году, когда каждый готов открыть другому всю свою душу, когда недруги готовы снова подать друг другу руку и забыть все прошедшее и когда все люди, высшие и низшие, равно чувствуют себя братьями в одном общем светлом торжестве! И потому, дядюшка, думаю, что и я имел от Светлого Христова Воскресенья свою выгоду и пользу, если и не денежную.
  - Вы, сударь, славный рассказчик!
  - Ну, дядюшка, не сердитесь, а приходите-ка к нам завтра отобедать!
  - Я, к тебе?
  - А почему нет?
  - А зачем ты женился?
  - Потому, что я люблю свою жену!
  - Ну довольно! Покойной ночи.
  - Я от вас ничего не прошу и ничего не требую, почему же бы не быть нам добрыми друзьями? Мне от всей души больно...
  - Покойной ночи, – повторил Скруг.
  - Так весело попраздновать, дядюшка, – сказал, уходя, племянник и дружески пожал руку писарю.
- “А вот тут еще другой молодец! – пробормотал Скруг. – с 15 рублями в неделю, с женой и детьми, – туда же, хочет спровадить праздник”.
- В это время вошло двое довольно видных господ с бумагами под мышкой.
- Скруг и Марлев, если не ошибаюсь, – сказал один из них, – с которым из этих господ я имею удовольствие говорить?
  - Вот уже семь лет, как скончался г. Марлев, и именно в эту самую ночь!
  - Мы уверены, что вы наследовали от вашего покойного товарища всю его благотворительность...
- При слове “благотворительность” Скруг насупил брови, покачал головой и подал назад бумаги.
- После прошедшей дорогой зимы столько есть нуждающихся, не имеющих никаких средств к пропитанию, особенно столько семейств, обремененных детьми, что для Светлого Воскресенья...
  - А разве нет рабочих домов и сотен дураков, которые подают милостыню всякому встречному? – прервал Скруг.
  - Всего этого мало, и потому мы решились собрать известный капитал и составить комитет для раздачи вспоможения родителям, а для детей устроить приюты! – при этом видный господин взглянул значительно на Скруга. – Что прикажете записать от вашего имени для праздника?
  - Ничего.
  - То есть, вероятно, не желаете, чтобы под вашим именем...

— Я желаю одного: чтобы меня оставили в покое. Я боюсь всяких комитетов и не люблю их, так же, как и детей. Притом у каждого, кажется, довольно своих дел и не для чего мешаться в чужие. Я же постоянно занят одними своими делами. Покойной ночи, господа.

Видя ясно, что им ничего не добудется, посетители вышли, а Скруг принялся снова за свои книги.

Время было самое дурное: ветер вил и крутил снегом; ночь была такая темная, что зги не видать; кое-где дрожал слабый свет в погасающем фонаре или блестящие окна магазина кидали длинную светящуюся полосу поперек улицы; наконец пришло время затворять контору и лавки.

Скруг слез важно с высокого конторского стула, а писарь немедля задул свечку и надел шапку.

— Вы, верно, уже наперед считаете весь завтрашний день своим?

— Если позволите, сударь!

— Да, я с радостью бы позволил, если бы за то вычитывался хоть полтинник из жалованья. Но вы себя считете обиженным! а?

Писарь улыбнулся.

— А меня вы не считаете обиженным, что плачу вам жалованье за такие дни, в которые вы ровно ничего на меня не делаете?.. За то прошу быть пораньше на следующий день.

Писарь обещал и затем бросился со всех ног бежать домой, чтобы несколько отогреть окостеневые руки и ноги и застать жену и детей еще не спящими перед заутреней.

Скруг застегнул на все пуговицы свой длинный сюртук и тихим мерным шагом отправился домой, раздумывая об ужине и мягкой постеле, когда все добрые люди с нетерпением ожидали радостного благовеста к заутрене.

Он занимал комнаты своего покойного товарища. То был темный, низкий ряд комнат, с разными закоулками, так что иной бы подумал, что они нарочно выстроены, чтобы играть в гулюшки.

Когда Скруг подходил к двери, он невольно приостановился и стал вглядываться, хотя, впрочем, на дверях, казалось, ничего особенного не было. Но, не знаю почему, старинный резной замок показался ему не замком, а старым сморщенным лицом его старого товарища, Марлева. Впрочем, в лице ничего не было страшного; он снова стал вглядываться, и снова тот же замок, который он отпирал и запирал каждый день уже двадцать лет сряду.

Я не скажу, чтобы он испугался, но ему стало как-то неловко. Наконец он храбро повернул ключом, взошел и зажег свечку. Прежде чем закрыть дверь, он снова заглянул, но ничего особенного не было, и он, с досадой, хлопнул дверью так, что громкое эхо раздалось по всему длинному ряду пустых комнат.

Проходя мимо, он заглядывал в каждый угол, под диваны, в шкафы, за ширмы... но нигде и никого не было; наконец он дошел до своей спальни. Старый камин, изношенные туфли, умывальник на трех ножках и кочерга — все было по-старому и на своем месте.

Наконец, успокоенный, он надел халат, колпак и туфли, повернулся, против своего обыкновения, два раза ключом в замке и преспокойно сел у огня; но огонь был разведен так скучо, что Скруг едва сам не влез в камин, чтобы почувствовать на себе хотя малое толико отрадной теплоты. Догоравший огарок также едва освещал покерневшие следы комнаты... Впрочем, Скруг любил темноту: ведь она даровая.

Камин был сложен из старинных кафель с выпуклыми фигурами. Когда он случайно поднял глаза, ему показалось, что из-за каждой кафели выглядывает старое лицо Марлева.

Скруг плонул и отвернулся.

Вдруг громко зазвенел колокольчик, и казалось, как будто все другие колокольчики соседних квартир и домов также зазвенели, соединясь в один громкий набат. Потом послышалось ему, что кто-то волочит цепями в нижнем этаже. Вот слышно, как цепи брякают по лестнице. Наконец, вот и сам Марлев перед ним. Лицо все то же, и тот же парик с хвостиком, сюртук, манжеты и длинный жилет, — но за ним тащилась хвостом длинная цепь из разных стальных кошельков, кованых ящиков, замков, ключей и пр.

Тело его было прозрачно, так что Скруг, всматриваясь, заметил, что сквозь жилет видны две задние пуговицы на сюртуке.

Скруг все еще не верил своим глазам, хотя и чувствовал даже холодное дыхание своего приятеля; наконец, прихрабрившись, он решился спросить у него, полууштя:

— Что вам угодно, сударь?

— Очень многое.

— Не угодно ли присесть, — сказал Скруг, посматривая на него сомнительно. Ему казалось очень мудрено, чтоб такое прозрачное существо могло садиться; но оно, несмотря на это, преспокойно устроилось против него и продолжало:

— Ты все еще не веришь в меня и не веришь своим чувствам?

— Потому, — отвечал Скруг, — не всегда я верю им, что всякая дрянь может сбить их с пути; вы, может быть, не что иное, как недоваренный кусок говядины, или сыр, или попавшийся дурной картофель; и потом, мало ли чего не увидишь, если случайно забьется какой-нибудь вздор в голову.

Скруг нарочно храбрился, чтобы сохранить свое хладнокровие. Но когда приятель его вдруг пронзительно и с сердцем крикнул и зазвенел цепями, он ухватился за кресло, чтобы не упасть со страха. Когда же привидение развязало свой широкий галстук и нижняя челюсть упала на грудь, Скруг в ужасе упал на колена и закрыл глаза руками.

— Помилуй, пришелец из иного мира, зачем ты тревожишь меня?

— Ты, который служишь лишь миру и его золоту, теперь веришь ли, что я дух и твой старый товарищ?

— Верю, верю, но зачем ты пришел сюда и откуда эти цепи?

— Я несу цепь, которую сам сковал себе во время жизни; я сам над нею трудился, над каждым кольцом и вершком ее, и заковал ею свою волю и совесть. Тебя она удивляет?

Скруг затрясся еще больше.

— А знаешь ли ты вес и длину той цепи, которую ты сам ежечасно куешь себе? Семь лет тому назад она была не меньше моей, а с той поры ты не переставал над нею работать! То-то будет цепочка!

Скруг оглянулся назад со страхом и сказал почти со слезами:

— Скажи хоть словечко в утешение.

— Не мне приносить утешение людям; оно нисходит с другого, вышнего мира, и для него есть свои посланные.

Скруг призадумался над слышанным и, по старой привычке, с важностью положил руки в карман, но не подымая глаз и не вставая с колен.

— Но где же искать и найти утешение? — сказал он.

— О жалкая, заключенная, скованная душа! — сказал Марлев. — Не знать, что для каждой христианской души, с смирением творящей свое дело в своем тесном кругу, каков бы он ни был, нет минуты в ее смертной жизни, которая бы не была равно благословенна! Но я? был ли таков? увы! нет, нет!

– Но вы были всегда хороший делец, – пробормотал Скруг.

– Делец! – вскрикнул его старый товарищ и начал с отчаянием ломать себе руки. – А много я сделал для своих близких? Часто ли знал милость, бывал снисходителен к брату?.. – С этими словами он вытянул свою цепь и в неописанном горе ударил ею оземь.

Последние слова товарища еще больше огорчили Скруга.

– Слушай меня, – продолжал Марлев, – мне недолго оставаться с тобою, я пришел сегодня предостеречь тебя и вместе дать тебе, по старой дружбе, надежду и возможность избежать моей участи. Помни, что я тебе даю ее.

– Вы всегда были моим добрым приятелем, благодарю вас.

– К тебе придут три духа.

При этих словах Скруг повесил нос и сказал слабым голосом:

– Такову-то надежду вы мне обещали!

– Да!

– Нельзя ли обойтись без них?

– Без них... тебе не избежать моей судьбы. Ожидай первого завтра, когда колокол пробьет час.

– Но нельзя ли было их принять всех зараз, как я делаю с пиллюлями или микстурой? – намекнул Скруг.

– Жди второго на следующую ночь, в тот же час, а третьего – на третью ночь, – продолжал Марлев, не обращая внимания на его слова. – Прощай же и не забывай меня.

С этими словами Марлев взял галстук и начал его подвязывать. Скруг заметил это по щелканью зубов, когда челюсти стали снова приходить на свое место, поддерживаемые толстым жабо.

По мере того как призрак отходил от него, окошко само собой поднималось, и он исчез в сумраке ночи. Улетая, он, казалось, подзывал своего товарища.

Скруг подошел к окошку. Небо было по-прежнему сумрачно, но в воздухе ему слышались странные звуки плача и стенанья, и каждый голос, казалось, стонал себе и ему в обвинение. И тот же воздух, когда он стал всматриваться, был полон, казалось ему, теней, мчавшихся туда и сюда со стоном и плачем, и каждая тень гремела своею цепью, и каждая цепь – своим особым звуком. Ему помнилось, что многих он знал в старые годы. Между прочим, он узнал, по его манжетам и толстому жабо, одного своего старого хорошего приятеля, разумеется, такого же скрягу бездушного, как он сам. Страшная, тяжелая цепь гремела и волоклась за ним и, казалось, заставляла кружиться на одном месте, где внизу на приступке сидела оборванная старуха с плакавшим от голода и холода ребенком. Прежний скряга не мог свести глаз с зрелица нищеты, которое он прежде только едва замечал. То протягивал он руки, то рвался подать что-то, – но все безуспешно, и тень его продолжала плакать, как дитя, томиться и стонать над своим бессилием; в этом и состояло общее несчастье, как то замечал Скруг не на одном своем приятеле, но и на прочих, – в том, что перед ними раскрыты были все горести людей, их прежних братий, и дано было все желание горячей христианской души помочь ближнему, и, казалось, даны были все средства, – но невозможность низойти в прежний мир и загладить прежние дела возвращала их к чувству своего бессилия и вечному плачу над собою и невозвратимым прошедшим. Последняя встреча заставила Скруга еще более задуматься; и на эту минуту ему невольно представилось, что и его ожидает впереди такая же участь. – Он сам не знал, была ли то какая-то странная дремота или сон, или все это виделось ему наяву. Наконец странные звуки и бледные тени мало-помалу стали теряться в воздухе... Все стихло и по-прежнему покрылось серым густым туманом.

Скруг закрыл окошко, бросился, не раздеваясь, на постель и заснул как убитый.

## Глава II

Когда Скруг проснулся, было так темно, что он едва мог разглядеть, где окошко. Начали бить городские часы, и, к его крайнему удивлению, толстый колокол ударил семь, восемь и, наконец, остановился на двенадцати. “Двенадцать, полночь, – а я лег в два утра. Верно, часы испортились: ледяная сосулька попала в колесы”.

Он надавил пружину у своего репетитора, и звонкий молоточек также пробил двенадцать. “Не может же быть, чтоб я проспал целый день и захватил еще ночи? Разве с солнцем случилось какое приключение, и теперь еще полдень?”

С этими словами он встал и протер рукавом замерзшее окно. На небе было так же темно, и никого на улице.

Скруг снова лег в постель. Он думал и передумывал, но бесконечность все более и более овладевало им; наконец он было уже убедил себя, что все это был сон, как вдруг часы пробили три четверти, и он вспомнил, что ему обещан новый гость к часу ночи. Эта четверть часа показалась ему необыкновенно длинна и мучительна; наконец куранты заиграли “бим, бом, бом, динь, дон, дон”. Скруг едва переводил дыхание, когда мгновенно колокол ударил свой одинокий, громкий – час. Комната осветилась, и что-то отдернуло занавесь постели.

Скруг вскочил и увидел себя лицом к лицу с странным образом. То было, казалось, лицо ребенка, но с таким строгим, спокойным взором и глубокою мыслью на челе, что, казалось, судьба сохранила зреому мужу всю свежесть его детства. Белые, как лунь, волосы падали кудрями по плечам; казалось, что не один век уже прожит этой маленькой головкой, а между тем яркий румянец играл на щеках ее и оттенял некоторые черты. Во всех членах была какая-то нежность и детская гибкость и вместе с тем сила мужского возраста. Его накрывала ярко-белая туника, собранная посередине поясом, блестящим всеми цветами радуги. В руках у него была пальмовая ветка, яркий свет блестал диадемой на челе, а под мышкой он держал шляпу, которая, вероятно, служила ему вместо медного колпака, которым мы гасим на ночь свечку.

- Не вы ли та особа, которой посещение возвестил мне мой приятель?
- Да, – отвечал нежный, звонкий голос.
- Не церемоньтесь у меня! не угодно ли накрыться? здесь холодно. – Ему очень захотелось видеть гостя в шляпе.
- Как! – и при этом маленький Дух поднял голос, – ты уже заранее хочешь погасить этот свет, который осветит тебе твоё прошедшее и будущее?

Скруг почтительно извинился, что, может быть, его обидел, и затем осмелился спросить, чему обязан он чести такого посещения?

- Заботе о вашем благоденствии.

Скруг выразил всю свою благодарность; но вместе с тем подумал про себя, что если бы его оставили хоть на одну ночь в покое, то сделали бы гораздо больше для его настоящего благоденствия.

Видно, что гость прочел в глазах Скруга тайную мысль его и, взяв за руку, громко сказал: “Не противоречить! Встать и идти за мной!”

Скругу было бы совершенно бесполезно отговариваться, что он совсем не привык к ночных прогулкам, что постель тепла, а термометр ниже точки замерзания, что он и одет неприлично, в туфлях, халате и колпаке... Противиться было нечего: его держала рука, нежная, как рука ребенка, но в которой он чувствовал всю силу Геркулеса. Он встал; но когда заметил, что его вожатый отправляется прямо к окну, в отчаяни ухватился за полу его белой туники:

- Вспомните, что я смертный: могу упасть и расшибиться!

– Не бойся, моя рука поддержит тебя и не на такой высоте.

С этими словами они были уже далеко и очутились среди полей на открытой проселочной дороге. Ни малейшего следа большого шумного города; туман и мрак ночи исчезли; был светлый, холодный весенний день, и снег порошил на землю.

– Боже мой, – сказал Скруг, всплеснув руками, когда он осмотрелся кругом, – я здесь родился, здесь был ребенком!

Тысяча надежд, сочувствий, радостей и забот, давно забытых, одни за другими грозным призраком вставали перед ним и словно носились в воздухе, напевая душе про все ее давно почившее, ею отверженное прошедшее. Казалось, новая, свежая жизнь пробежала по всем жилам.

– У вас дрожат губы и румянец выступил на щеках? – сказал с детскую нежностью его вожатый, – но пойдемте; вы, я думаю, помните дорогу.

– Как не помнить! – вскрикнул Скруг с небывалым жаром, – я бы нашел ее ощупью.

– Странно же, во столько лет ни разу не вспомнить... но идемте.

Они пошли по дороге. Скруг узнавал каждое дерево, каждую тропинку... наконец, показался пред ними небольшой уездный городок с несколькими торчащими колокольнями, соборным куполом, вьющимися рекою и деревянным мостом. Вот едут к ним навстречу крупною рысью несколько телег, усаженных молодыми курчавыми головками. Молодые парни побольше сидели на облучке и погоняли по всем по трем, затягивая веселую песню. Вся эта молодость, казалось, была в большой радости, хохотала, кричала, хлопала в ладоши, другие с тем же хохотом, песнями и криками шли гурьбой пешком, Скруг вспомнил, что то было Светлое Воскресенье и что многие из его товарищей отправлялись тогда в соседний богатый пригород к своим отцам и матерям.

Он мог назвать почти каждого по имени; но странно, чему он так обрадовался, когда увидал их, так что сердце, казалось, готово было выпрыгнуть; отчего так засверкали давно потухшие глаза? отчего с такою радостью он вслушивался в радостное: “Христос воскрес. – Воистину воскрес”, – которыми они менялись с каждым встречным. Какое, казалось, было дело ему до Светлого Христова Воскресенья? Разве оно доставило ему когда-нибудь лишнюю копейку?

– Школа, однако же, не совсем пуста, – заметил его вожатый, – в ней остался один сирота, заброшенный и забытый всеми.

– Да, я знаю, – отвечал Скруг и закрыл глаза руками.

Они повернули в переулок и остановились перед небольшим серым, скосившимся набок домом. Миновав первую большую классную, установленную засаленными столами и лавками, они взошли в другую небольшую комнату назади дома, где возле топившейся печки размыкивал свое горе бедный сирота, которого учитель оставил стеречь школу, пока он сам и все его товарищи так весело встречали Светлое Воскресенье.

Скруг присел на одну из лавок и невольно заплакал над прежним самим собою, которого все забыли.

Ни один звук в пустом доме, было ли то мяуканье кошки за печкой или стон ветра в голых ветвях плакучей березы, скрип далекой двери на дворе или треск и щелканье огня в печке, – ни один звук не пропадал даром для Скруга. Все говорило его душе о ее прежней детской светлой жизни; с каким-то странным наслаждением вслушивался он в каждый беглый звук и каждый звук, казалось, какою-то неземною отрадою ложился в его опустелую, черствую душу. Он стал пристальнееглядываться в своего прежнего себя, и невольно вырвалось у него: “бедный ребенок”.

– Я бы хотел... – и с этими словами он судорожно опустил руку в карман, но, оглянувшись кругом и оттерев рукавом глаза, продолжал вполголоса: – теперь уже поздно.

– В чем дело? – спросил его вожатый.

– Ничего, – сказал Скруг, – ничего. Вчера вечером остановился у моей двери мальчик, такой же жалкий... Я бы с радостью дал ему что-нибудь теперь, – вот и все.

Дух грустно улыбнулся, махнул рукой и сказал: “Вперед!”

С этими словами сидевший у огня мальчик вдруг раздвинулся в плечах и вырос на несколько вершков; в комнате стало темно, дом вдруг пошатнулся еще более набок, окошки рассели, штукатурка попадала в разных местах. Снова стало светло, и все по-прежнему; но как и что, Скруг ничего не мог понять: и прежний он снова один, и школа по-прежнему пуста, ибо также было Светлое Воскресенье; но в этот раз он уже не сидел, спокойно притаившись в углу, а в большом волнении расхаживал большими шагами по комнате.

Скруг и вместе с ним его молодой двойник с нетерпением глядели на дверь. Дверь наконец отворилась, и маленькая девочка лет девяти бросилась к нему на шею и повторяла, целуя его: “Милый, милый братец!”

– Я приехала за тобой, чтоб отвезти тебя домой, братец, – говорила дитя, смеясь от радости и хлопая ручонками, – домой, домой!

– И совсем домой, Катя.

– Да, да! – отвечало дитя, сверкая глазенками. – Домой и навсегда, так, чтобы тебе не возвращаться больше в эту скучную школу. Дядюшка стал гораздо добре к нам, так что я раз решилась спросить у него: “Пора бы домой братца, дядюшка?” – и он отвечал мне: “Да, пора, и поезжай сама за ним, Катя, с старым Иваном”. Ты, однако же, уже совсем большой человек, Петя, – сказала она, призадумавшись немного, и вытаращила на него глазки. – Но что за дело: мы с тобой вместе всю Святую... О, если бы ты знал, какое у нас веселое время, другого нет такого в году!

– Да и ты совсем невеста, Катя.

Она прыгала и хлопала в ладоши, то смеялась, то плакала, хотела раз погладить его по голове, но не достала, снова хохотала и встала на цыпочки, чтобы снова поцеловать его. Потом – ну тащить его ручонкой к двери; а он, разумеется, не противился.

Вдруг раздался осиплый голос: “Снести вниз пожитки господина Скруга!” – и вслед за тем показался сам учитель, длинный и худой, и с величественной, но вместе благосклонной улыбкой погладив детей по головке, взял их за руки и повел в соседнюю комнату, где уже накрыт был на стол завтрак: красные яйца, куличи и пасха. Дети поели, поблагодарили учителя и с радостью расстырились с ним. Все было уложено, колокольчик зазвенел, и кибитка покатилась.

– Какое нежное создание! Но ему заявнуть от первого подувшего ветра! – сказал призрак, обратившись к Скругу. – А какое было любящее сердце!

– Да, вы правы! Боже упаси, чтобы я сказал что-нибудь против нее.

– Но она, кажется, умерла уже замужем, и от нее остались дети?

– Да, один.

– Ваш племянник?

Скругу стало как-то неловко, и от ответил коротко: “да”.

Они вышли из школы. Веселые, праздничные толпы бродили по улицам, время уже клонилось к вечеру. Они остановились перед одной вывеской, и призрак спросил Скруга, знает ли он ее.

– Как же не знать! Да я здесь был в ученье.

Они вошли. За столом сидел старый господин, такой высокий, что если бы еще несколько вершков, казалось, он достал бы до потолка.

– Боже мой, мой старый добный хозяин!

Высокий господин встал из-за стола, посмотрел на часы и затем потер себе руки, поправил галстук, улыбнулся и вскричал густым веселым басом:

– Эй, Фома, Петя!

Прежний он Скруга, теперь уже молодой человек, взошел быстро в комнату вместе с своим товарищем.

– Фома, Боже мой! – сказал Скруг. – Да, это он. Как он любил меня, бедный Фома.

– Ну, дети, – сказал хозяин, – сегодня не до работы, и пора подумать о вечере, закрыть ставни, все убрать, вынести все лишнее. – И, прихлопнув в ладоши, прибавил: – Живо!

Все было готово в одно мгновение: столы вынесены, пол подтерт, свечки зажжены и ожидали гостей.

Вот вошла скрипка и начала настраивать, за нею дородная хозяйка с широкой, полновесной улыбкой и три хозяйские дочки, цветущие здоровьем; затем дамы и кавалеры, башмачник с своей дочкой, портной с своим сыном и затем еще несколько гостей, более почетных. Гостей было очень много. Все они входили – кто смело, кто с робостью, кто неловко, кто жеманясь; но для всех нашли, однако же, место, хотя, может быть, и не совсем просторное. И вот пошли пары за парой, взад и вперед, вправо и влево, кружатся и раскланиваются, кто с важностию, кто вприскокку. Молодой Скруг уивался около дам; сам старики-хозяин и хозяйка не пропускали ни одного танца и неутомимо выделявали все па. Казалось, все они разучились ходить попросту и только умеют, что прыгать. Все это время беспрестанно разносились всякие закуски и прохладительные лимонады, красная вода, конфеты, пастыла, пряники и орехи. Наконец, пробило двенадцать, скрипка заиграла польской, и гости начали расходиться. Хозяин и хозяйка стали у двери провожать гостей. Много было рукожатий, много поцелованных ручек и добродушных желаний, чтобы так же весело провести и остальные дни праздника. Наконец все распрощалось, приветствия и чмоканья кончились, и в комнате остались только два молодых человека.

Во все это время Скруг был как вне себя, вся его душа была в том, что он видел, и с своим прежним собою. Все пред ним ожило, и всем он наслаждался, как будто прежний двадцатилетний юноша. Он был в неописанном волнении и опомнился, когда они были уже одни, и вместо светлых улыбающихся лиц молодых людей глаз его встретился с прозрачным взглядом призрака. Светящаяся диадема на головке блестала ярче, чем когда-либо.

– А как малого стоит, – сказал он, – сделать весь этот пустой народ счастливым.

– Малого? – отвечал Скруг, задумавшись.

Призрак дал ему знак, чтобы он вслушался в разговор двух молодых людей, которые вышли в соседнюю комнату и рассыпались в похвалах своему доброму хозяину, и затем продолжал:

– Он не истратил и сорока рублей: есть из-за чего расточать ему такие похвалы!

– Не в том дело, – сказал Скруг, разгоряченный замечанием, и, забывшись, говоря совершенно как прежний, давно отживший он. – Не в деньгах дело: всякий человек может сделать зависящих от него счастливыми и несчастными, сделать для них всякий труд, легкий или тяжелый, удовольствием или тягостным источником болей. Скажи лучше, что эта власть его в каждом слове и взгляде, в каждой безделице, которую сама жизнь разве может заметить, а это счастье, которое он разливает, так же драгоценно, как если бы оно стоило ему половины его достояния.

Он почувствовал на себе взгляд призрака и остановился.

– В чем дело?

– Ничего особенного: я сейчас подумал о своем писаре и хотел бы сказать ему несколько слов.

В это время взошел его прежний он и погасил свечи. Стало темно, и снова они очутились где-то, но где, сначала Скруг не мог разобрать.

– Мне остается немного времени, – заметил его вожатый. – Скорей!

И с этими словами прежний Скруг уже стоял перед ними. Он был теперь мужчина в зрелом возрасте, черты его лица еще не огрубели, как в позднейшие годы, но уже носили на себе печать заботы и страсти к золоту. Заметно было какое-то беспокойное, нетерпеливое движение в глазах, которое показывало, что семя страсти уже брошено и будущее дерево скоро заглушит под своей мертвящею тенью всякое другое человеческое чувство.

Он не был один; возле него сидела молодая девушка с румяным, свежим лицом и в траурном платье. В глазах ее блестели слезы, точно росинки на восходе солнца. У окошка сидел старик-отец и, казалось, был углублен в чтение какой-то книги.

– Вы сами, может быть, того еще не чувствуете, но другое земное божество вам заменило меня; дай Бог, чтобы оно дало вам те же радости, какие мое сердце обещало... – сказала она с какою-то нежною грустью.

– Что за земное божество? – спросил он.

– Золото, – отвечала она.

Таков всегда бывает свет, – продолжал он, – ничто не бывает так завистливо, как бедность, и ничего не обвиняет она так строго, как всякое искашение богатства, и особенно когда оно успешно. – Он уже не мог понять, как эти слова раздирали сердце бедной девушки.

Но она оттерла глаза и продолжала с кротостью:

– Я знаю, теперь для вас одна цель и надежда жизни: золото и поклонение людей пред тем золотым кумиром, который вы создадите из себя. Я видела, как все ваши лучшие внушения души, благородные порывы мысли вяли и блекли один за другим под холодным дыханьем золотого идола,

– Так что же? если я и стал во столько благоразумнее, я, кажется, не переменился к вам. – Она покачала головой. – В чем же?

– Уже прошло много времени с тех пор, как мы обещаны друг другу и покойная мать моя благословила нас. Мы были одинаково бедны тогда, но довольны своей судьбой. Вы с тех пор стали богаты, я не так бедна, как прежде, но осталась та же, а вы переменились. Тогда вы были другой человек.

– Я был тогда ребенок, – сказал он с нетерпением.

– Ваше собственное чувство говорит вам, что вы не тот, что были, – продолжала она. – То, в чем вы готовы были положить все блаженство вашей жизни, теперь уже далеко от вас... Я долго думала об этом и не стану повторять, чего оно мне стоило. Но довольно, что я убедилась в этом и готова возвратить вам ваше слово...

– Но разве я показал вам в чем-нибудь, что я...

– В словах – нет.

– Так в чем же?

– В том, что для вас другие надежды, другая цель и другое поприще жизни, а с этим изменилось и все, что заставляло вас дорожить моей любовью. Скажите откровенно, не будь ничего прежде между нами, не будь данного слова и родительского благословения над нами, пришли бы вы теперь просить моей руки?

С этими словами она поглядела на него с такою грустью, но вместе с таким спокойным, прозрачным, проникающим душу взглядом, что ложь была невозможна, – и он замолчал.

– Чего бы я ни дала, чтобы думать иначе, – продолжала она, – то Бог один

ведает, но я знаю свой долг. Будь вы свободны, и вы не отдали бы руку бедной девушке, которая не принесет вам ничего, кроме забот и лишних издержек, и даже если бы вы уступили минуте увлечения, не принес ли бы вам следующий же день раскаянье и упреки в вашей слабости. Бог да благословит ваше будущее; возвращаю вам ваше слово, и от чистого полного сердца, во имя того, которого оно любило и кого уже нет более.

Он хотел говорить, но она продолжала, отвернувши голову, чтобы скрыть катившиеся слезы:

— Вы можете... Небо не оставляет никого своей благодатью. Вы можете возвратиться... но нет, нет. Год-другой, и всякая память обо мне исчезнет в вас, как докучливый сон, который часто незваный приходит возмущать наше спокойствие. Дай Бог вам счастья на пути, который избрали.

В эту минуту старик-отец поднял глаза с книги; она подошла к нему и, показывая на Скруга, с жаром говорила что-то...

...Вдруг все исчезло.

— Призрак! — сказал Скруг. — Я не хочу больше твоих видений, веди меня домой, что за радость тебе мучить мою бедную душу?

— Еще одну тень, — сказал дух.

— Будет, умоляю тебя!..

Но противиться было нечего. Призрак схватил его за руку, и они очутились в комнате, не очень большой и убранной не с особенною роскошью, но все в ней говорило о семейной жизни, довольстве и счастии. Подле камина сидела молодая прекрасная девушка, едва вошедшая в тот счастливый возраст, где сходятся все светлые лучи нашей жизни в одно радужное сиянье, когда душа еще не расставалась с благоухающей прелестью и веселой беззаботностью детства, но уже видит перед собой другие, более зрелые образы и просится в иной мир, к иным радостям, и все ей так светло и радужно в туманной дали... Она до того была похожа на девушку, которую мы сейчас только оставили, что Скруг уже готов был принять ее за то же видение, только моложе и прекраснее, но вошла мать, и он узнал в ней свою бывшую невесту. В комнате шум был страшный, в ней было больше детей, чем Скруг мог перечесть в своем замешательстве, и каждый шумел и кричал по-своему, но остановить было некому. — Видно было, что ради Светлого Воскресенья мать оставляла их веселиться и встречать его по-своему. Она весело улыбалась, следя за ними глазами, а молодая девушка наконец не высидела, встала и начала бегать вместе с детьми. Но вот зазвенел колокольчик, — вдруг все бросились к двери, кто первый поцелует воротившегося отца и скажет ему веселое "Христос воскрес". За ним шел старый слуга с корзиной игрушек, фарфоровых, восковых и всяких яичек. Пошли новые радостные клики. Кто дергал отца за полы платья, кто карабкался к нему на шею, кто тащил к матери, чтобы показать во всем торжестве новую полученную игрушку. Наконец все эти маленькие курчавые головки занялись каждой своим подарком и притихли.

Скруг между тем становился все внимательнее... Хозяин дома, поцеловав и усадив всех детей, обнял с нежностью старшую дочь и сел возле нее и матери у камина. Тогда он подумал, что такое же созданье, такое же прелестное и полное надежд, — могло бы также назвать его отцом и расцвести весенним благоухающим цветом на зимнем поле его жизни... о, тогда он тяжело вздохнул, и у него потемнело в глазах.

— Маша, — сказал муж, обращаясь к жене с улыбкой. — Я видел вчера твоего старого приятеля, отгадай, кого?

— Кого же? Право не знаю. Разве, — прибавила она смеясь, — господина Скруга?

— Да, именно Скруга. Я проходил мимо его конторы, когда выносили гроб его товарища.

— Бедный, теперь он один, совершенно один на всем белом свете... — и невольная тень набежала на ее лицо.

— Дух, — сказал Скруг дрожащим голосом, — скорей веди меня отсюда.

— Вы сами знаете, что это лишь тени всего, давно почившего. Чем же я виноват, что оно было так, а не иначе?

— Уведи меня! — вскричал Скруг в отчаянии, — я не могу дольше вынести...

Он повернулся к призраку, но, видя, что тот стоит неподвижно и светящаяся диадема блестит ярче, чем когда-либо, с отчаянием бросился на него, вырвал шляпу и накинул ей на голову.

Но чудесный свет все ярче и ярче светил из-под шляпы, и Скруг, после долгой неравной борьбы, очутился на своей постели. Он повернулся на бок и крепко заснул.

### Глава III

Когда он проснулся, снова было темно и было три четверти. Бой часов возвратил его к ожиданию нового гостя. Он собрался с духом и решился храбро выжидать будущего посетителя, отдернул занавески и в оба глаза смотрел перед собою. Наконец пробило час...

Странный красноватый свет показался из другой комнаты. Скруг долго взглядался и вслушивался, но ничего особенного слышно и видно не было. Наконец, после долгого ожидания, к нему очень естественно пришла другая, более земная забота. Уж не пожар ли в доме? С этим вместе он надел туфли и подошел к двери, но едва он дотронулся до ручки, как громкий странный голос назвал его по имени:

— Добро пожаловать и с нами покороче познакомиться.

Посреди комнаты стоял странный светящийся призрак, протянув ему руку. Его накрывала простая белая мантия, но он весь был прозрачен и озарен каким-то странным белым огнем, все его черты беспрестанно изменялись, каждый член и мускул был в непрестанном движении, так что глаз не мог уловить ни одной черты и ни одного движения. Тысяча различных неуловимых образов отражались и проходили как тени в его прозрачном облике, но на всех этих образах чувствовалась какая-то радость и что-то веселое в каждой убегающей линии.

— Я Дух настоящего, — сказал он. — Каждое мгновение уносит меня в вечность и снова возвращает из нее; во мне проходит и отражается все мутное неуловимое настоящее людей со всем их горем и их радостями, чтобы после застынуть в вечность прошедшего... Теперь ты видишь одни радостные, приветливые тени, но потому только, что нет той христианской души на земле, которая бы не радовалась и не приветствовала своего воскресшего Спасителя. О, если бы всегда было такое ликующее настоящее и не менялось ежеминутно светом и тьмою...

— Дух, — сказал Скруг с почтительным поклоном. — Ты, я знаю, недаром пришел ко мне; ведь же меня, куда хочешь! Еще прошлую ночь я следовал за твоим товарищем из одного принуждения, но я получил вчера урок, которому не остаться втуне, и теперь я всюду готов за тобою, чтобы воспользоваться новым уроком.

Дух взял его за руку, и они очутились на улице. Длинные ряды вытянутых во фронт домов смотрели еще скучнее и однообразнее в полуслете рассветающего утра на широкие, пустые, бесконечно длинные улицы. Лишь изредка гремела и прыгала по оледеневшей мостовой пустая бочка, ехавшая на реку за водою, одинокая телега плелась на соседний рынок, нагруженная разными неблаговидными, иногда хрюкающими или жалостно мычавшими припасами, которые, еще за несколько часов перед тем, весело расхаживали на задах какого-нибудь бедного крестьянского двора и нимало не предвидели близкую, грозившую им честь явиться за роскошным столом какого-нибудь толстого барина в звезде, — или дребезжали извозчики дрожки, везшие из отдаленной части города мелкого чиновника, который спешил записаться первым в лакейской своего грозного начальника. Небо было серо; густой туман поднимался от болотистой почвы, которая уже начинала таять под лучами весеннего солнца; много они миновали красивых решеток, кружевом тянувшихся вдоль садов, дворцов и каналов, и затейливо перекинутых мостиков, отделанных как модная дорогая игрушка, которые прерывали скучное

однообразие улиц, как красивые виньетки или бордюры затейливо перерезывают черные крупные строчки великолепных политипажных изданий. Наконец они вышли на большую набережную. Заря багровела на небе и багровым румянцем покрывала ледяные громады, которые с треском и громом нес на себе широкий и могучий, как море, разлив большой реки. Даль и волны, и нависшие над волнами дворцы и палаты – все виднелось в том же странном красноватом полусвете. Но вот луч восходящего солнца прорезал туман, зажег блестящею искрой шумно текущие волны и осыпал тысячами радуг прозрачные движущиеся громады, то с громом разбивавшиеся друг о друга и о гранитные стены то плавно и величественно уходившие в туманную, бесконечную даль... Но реже туман, светлее небо, выше и выше солнце, и, наконец, полными праздничными лучами озарило оно все поднебесье, и никогда еще, казалось, так свежо и ярко не играло оно на небе, чтобы напомнить людям о их светлом празднике.

Долго и в странном раздумье стоял Скруг над рекою. Может быть, впервые после стольких лет взглянул он приветливо на Божий мир, и, может быть, никогда еще не казался ему этот Божий мир так чуден и светел... Светлей и благодатней казалось солнце, прозрачней, чище, благословенней небеса... и как мелки, как ничтожны показались ему тогда все богатства и все золото людей, в котором еще недавно он полагал всю свою душу, как отворотился он тогда от этих пышных палат, которым еще недавно так завидовал.

Но солнце было уже высоко, и они пошли далее. Послышался благовест редких, кое-где видневшихся церквей, призывающий к ранней обедне все низшее население обширного города: рабочего, не поспевшего к заутрене за срочной дорогой работой, мелкого чиновника, проспавшего заутреню и не довольно ревностного к лакейской своего начальника, дворника или служанку, которые спешили помолиться Богу, пока еще не вставал их барин или барыня. Понемногу улицы стали наполняться всяким спешившим в ту и другую сторону, за делом и бездельем, народом, и всюду среди пестрого говора разноязычной толпы раздавались радостные "Христос воскрес" и троекратные чмоканья в губы; наконец мало-помalu начали отворяться мелочные лавочки, показались лотки с куличами, пасхами и красными яйцами... А они, между тем, вышли почти к заставе Вожатый Скруга остановился у небольшого низенького флигеля. То было жилище Федор Ивановича Кричева, секретаря Скруга.

– Подумайте только о том, господин Скруг, – заметил с улыбкою призрак, входя на порог, – ваш секретарь получает только 30 рублей в месяц, и мы удостоиваем его чести нашего посещения. – И вот они невидимкою вошли в переднюю большую комнату.

Хозяйка, чисто, но бедно одетая, в вывороченном и не раз перешитом платье и в белом накрахмаленном чепчике накрывала на стол с одною из своих старших дочерей, а Г-н Петр Кричев тревожно ловил зубами концы отцовского длинного воротничка, в который его нарядили для праздника; другие два Кричевы, мальчик и девочка, прибежали впопыхах с важным известием, что они видели в щелку, как на очаге в кухне жарится большой жирный гусь. Они кричали и прыгали около стола и хлопали в ладоши пред Петрушкой, который чистил и крошил яблоки под жареного гуся и иногда с важностью протягивал им какой-нибудь лишний обрезок, который не успел сам скушать.

– Что же это сделалось с нашими? – сказала Матрена Васильевна, – с вашим отцом, маленьким Степой и Марфой?

– А вот и Марфа, матушка, – сказала, входя, девушка постарше.

– Мама, Марфа пришла! А уж какой гусь, Марфуша! – кричали маленькие дети.

– Бог с тобой, что ж ты так запоздала, Марфуша, – говорила мать, целуя ее и снимая большой платок с головы.

– Столько было дела, чтобы сделать всю работу к празднику, матушка.

– Ну Бог с тобой, садись у печки и погрейся.

– А вот и батюшка идет, – кричали маленькие дети. – Марфуша, спрячься, спрячься!

Она спряталась, и вот вошел наш знакомый Федор Иванович. Когда-то синий, а теперь уже поседелый сюртук был вычищен до невозможности; на руках он нес маленького Степу, – но увы: у бедного, еще крошечного Степы маленькая

- Но где же Марфа? – сказал отец, оглядываясь.
- Еще не приходила! – кричало несколько человек.
- Как, еще не приходила! – и как бы тень прошла на его веселом, дотоле беззаботном лице.

Марфуша это заметила, и ей стало больно, что, хотя в шутку, огорчила отца; и, не дожидаясь более, выскочила из-за двери и бросилась к нему в объятия; а меньшие дети возились между тем около Степы и тащили его в кухню, чтобы прислушаться, как шипело пирожное в горшке.

- А как вел себя Степа в церкви? – спросила мать.
- Он был золото, а не ребенок; и какие странные мысли иногда бродят у него в головенке... Шедши домой, он мне сказал, что, верно, тем, кто был в церкви, весело было вспомнить, глядя на него, маленького калеку, о том, кто возвращал зрение слепым, ноги и руки хромым иувечным. – Голос отца дрожал, когда он это рассказывал, и задрожал еще более, когда послышался на полу частый стук маленькой деревяшки.

Кричев заворотил рукава, как будто эти рукава могли еще более засалиться, и начал мешать какую-то подливку к жаркому, а Петруша с братом и сестрою были посланы за гусем и похлебкой и скоро торжественно воротились в большой процессии. После этого такой поднялся шум, что вы могли бы подумать, что гусь – какая-нибудь редчайшая заморская птица; впрочем, действительно гусь был великою редкостью в их бедном хозяйстве. Матрена Васильевна делала соус, Петруша чистил картофель, Марфа перетирала тарелки. Сам Кричев взял к себе маленького Степу и посадил возле себя на конце стола. Меньшие дети расставляли всем стулья, не забывая в том числе и себя, и, рассевшись по местам, едва не проглотили ложки в ожидании, когда им достанется тарелка горячей вкусной похлебки. Наконец все было готово, молитва прочтена, и сели за стол. Когда похлебка была съедена, принялись, разумеется, не мешкая, за гуся. Каждый едва переводил дыханье, когда хозяйка готовилась воткнуть нож в грудь чудовища; и невольная радостная улыбка показалась на всех лицах, когда вдруг брызнул густой сок и начали отделяться на тарелку большие полновесные куски. Сам маленький Степа, раззадоренный двумя меньшими, забил в ладоши и тоненьkim голоском закричал: браво!

Все дивились гусю. Его дешевизна, огромность, нежность и сочность мяса доставляли неисчерпаемый предмет для разговоров, каждому достало вдоволь, все наелись досыта, и еще оставалось. Должно же быть, что был уж гусь на славу! Меньшие Кричевы были по уши все в жиру и яблоках, так что насилиу могла их оттереть старшая сестра. Последовало еще каких-то два блюда, одно, кажется, молочное, а другое – сладкий пирог, и затем обед был кончен. Все были сыты донельзя, и каждый был доволен и счастлив, как только могут быть счастливы на этом свете, и, начиная с отца до самого Степы, каждый по-своему благодарил мать и рассыпался в похвалах ее искусству: что никогда еще и нигде не бывало такой похлебки, такого гуся и такого пирога. Со стола было убрано, поданы были пряники, изюм и орехи, а Петруша поставил перед отцом бутылку наливки.

- Счастливо провести всем нам праздник, мои дорогие; да благословит Господь каждого из вас.

Каждому была налита наливка, смотря по его летам, и все отвечали в один голос на поздравление отца.

- Бог да благословит каждого из нас, – повторил маленький Степа после всех.

Он сидел рядом с отцом на высоком маленьком стуле. Отец держал его за маленькую сухую ручонку, как будто боялся, что его скоро отнимут у него.

- Дух, – сказал Скруг с участием, которого, может быть, никогда еще не чувствовал. – Скажи мне, будет ли жить маленький Степа?

– Видел ли ты, как черный ворон опустился на трубу, когда мы подходили, и жалобно прокаркал три раза? Если будущее не изменит то, что приготовила неизменно текущая река жизни, этому ребенку не жить.

– О нет! Скажи, что его пощадит судьба!

– Говорю тебе, что если не изменит будущее, ему не видать больше ни одного из моих светлых братий, да что же, – продолжал дух, – если ему суждено умереть, – чем скорее, тем лучше избавить общество от излишка народонаселенья и бедную семью от лишнего бесполезного члена, которого она должна кормить и содержать?

Скруг повесил голову, когда услыхал свои обычные слова, повторенные духом. Он весь был полон раскаяния и горького чувства.

– Человек, – продолжал дух, – если только в тебе есть человеческое сердце, а не камень, останови свою грешную мысль и грешное слово, пока ты не узнал, где излишок, и в чем он, и есть ли что лишнее у Господа? Тебе ли решать, кому суждена жизнь, а кому смерть; может быть, что сам ты, в виду вселюбящего неба, менее достоин жизни и менее им призван к ней, чем миллионы таких же бедных, бесполезных творений, как этот нищий и изувеченный ребенок. Слышать, как червяк, уже всползший на зеленый листок дерева, произносит смертный приговор над излишком жизни в своих голодных братьях, еще пресмыкающихся в пыли!

– Здоровье господина Скруга, – сказал господин Кричев. – Все-таки на поверку он виновник всего празднества.

– Вправду виновник праздника! – сказала жена его, вся покрасневши. – Разве потому, что он отсчитывает тебе твои трудовые тридцать рублей, да, кажется, они вовсе не даром тебе достаются! Я бы желала, чтобы он был здесь: уж я бы насказала ему!..

– Вспомни, душа моя, – сказал Кричев, покачав головой, – дети! Светлое Воскресенье!

– Да, все в Светлое Воскресенье пьют за здоровье такого противного, бесчувственного человека, как господин Скруг! Ты знаешь, что он таков, и лучше, чем кто-нибудь, мой бедный Федя.

– Душа моя, – был тихий ответ ее Феди, – помни, что Светлое Воскресенье.

– Так пью же за его здоровье, – но в честь твою и Светлого Праздника, а совсем не его. Много лет ему здравствовать и во всяком благополучии.

Дети выпили также за его здоровье. То была первая минута во всем дню, в которую не было более того радушного веселого вида на всех лицах. Степа выпил последний, но и тот как-то с неохотой за здоровье такого недоброго человека.

Имя Скруга было страшлом для всей семьи: его достаточно было, чтобы каждый от мала до велика почувствовал себя в дурном духе на целые десять минут. Но зато после этих десяти минут они стали еще вдесятеро веселее, оттого только, что с души отлегло противное имя Скруга.

Потом отец начал рассказывать, что он имеет в виду место для Петруши, которое будет ему приносить два целковых в месяц. При этом маленькие Кричевы подняли страшный хохот от одной мысли, что Петруша скоро будет деловым человеком, и сам Петруша в глубоком размышлении выглядывал из-за огромных воротников, рассчитывая, какое сделать употребление из таких огромных доходов? Марфа, которая была в ученье в швеях, также рассказала про свое житье-бытье: чт#243; она работает, какие блестящие, раздушенные дамы к ним приезжают в магазин и что еще недавно одна из таких дам привозила к ним своих детей, мальчика и девочку, которые показались ей пренесчастными в своих великолепных нарядах, так они были затянуты и так, казалось, было им неловко и душно... особенно маленький мальчик, которого головка и ручонки совсем уходили в накрахмаленные манжеты из тонкого батиста, до того, что бедняжка не мог или не смел повернуться. Потом прибавила, поглядев на сестер и братьев, что тогда еще она вспомнила о своем брате Петруше и сестрах и нисколько не позавидовала за них этим знатным детям, несмотря на все их кружева и дорогое платье. Петруша не утерпел, однако же, при этом прихорошиться и вытянуть еще более свои длинные воротнички. Между тем беспрестанно щелкали орехи, заедаемые пряниками, а иногда маленький Степа запевал тоненьkim голосом про

Хомяков А. Светлое Воскресенье filosoff.org  
маленького мальчика, которого занесло снегом; у него был маленький жалобный голосок, но, право, он пел совсем недурно.

Во всем этом не было ничего особенного. Семья эта не отличалась красотою, в детях не было ничего особенно миловидного, все они были дурно одеты, у кого на башмаках или на локтях были заплаты, — но они умели быть счастливыми, были довольны собой и друг другом и благодарны судьбе за то немногое, что она давала им, не завидуя тем, кто имел больше. Казалось, что маленький кружок становился все веселее...

Наконец Скруг почувствовал на себе легкое прикосновение своего товарища. Уходя, он не раз оглянулся и следил глазами каждого, а особливо маленького Степу.

Когда они вышли, время уже клонилось к вечеру; на улице было все в движении. Стук карет и дрожек не умолкал, пешеходы отовсюду спешили туда и сюда, и чем беднее кто был одет, чем ближе казался тех, которые своим трудом и том снискивают свой хлеб, тем, казалось, был счастливее, тем веселее, праздничнее было лицо... ибо Светлый Праздник для него был действительно днем отдыха и общей давно ожиданной радости, а не днем скучных обязанностей, визитов и пр. — как то обыкновенно бывает для тех, которые могут всегда отдыхать и черпать полную чашей в удовольствиях жизни. На многих даже лицах особенно радостных господ и госпож, которые прохаживались по широким тротуарам или выглядывали из великолепных карет и колясок, видны были одно утомление и скука. На каждом лице можно было сосчитать, сколько визитов было сделано или сколько еще остается сделать.

— Взгляни, — сказал дух, дернув Скруга за руку, — на эти усталые лица и пойми теперь, что не золото находит людей пользоваться дарами Божьими и что рука Божья, наперекор людям, проводит один уровень над всем своим творением, что она сделала богача, утонувшего в золоте, тупым и бесчувственным к радостям, которые открыты каждому нищему, и обратила дни отдыха и общей христианской радости в труд и скуку для тех, которые не знают труда, — и ты поймешь тогда, что в бедном жилище, которое мы оставили, ты видел, может быть, больше истинного довольства и счаствия, чем сколько есть во всех этих пышных палатах...

В эту минуту они проходили мимо великолепного дома, который цельными зеркальными окнами смотрел на широкую улицу. Мало-помалу окна осветились, и они увидали перед собой длинный ряд вытянутых фигур, сидевших за пышным, тяжело нагруженным столом; за ними тянулся такой же длинный ряд прислуги; было слышно плавное стуканье ножей и тарелок и важные чинные разговоры, — но ни одного задушевного веселого слова; виднелось много серебра, хрусталий и золота, — но ни одного вполне веселого, беззаботного лица, ни одной открытой, вполне радушной улыбки...

Они пошли далее и повернули в другую, менее великолепную улицу. Везде проходили веселые тени мимо окон, всюду виднелись приготовления принять гостей. Там веселая толпа детей выбегала на крыльцо, чтобы встретить и поздороваться первыми с старшими братьями и сестрами, дядюшками и тетушками. Там подходило к двери, вместе с своей гувернанткой или матерью, и взбегало маленькими летучими ножками на широкую лестницу несколько хорошеных девушек. Там извозчик, шагом возвращающийся из далекой поездки, тихонько напевал веселую песню. Там веселой гурьбой плелась по тротуару толпа учеников и подмастерьи какого-нибудь шляпного или тому подобного заведенья, — и все это, что они миновали, казалось, становилось еще веселее, и лица еще более расцветали с приближением двух невидимых, и даже будочник, бежавший зажигать фонари, чему-то громко захохотал, когда они проходили мимо. Но вот вдруг неожиданно все изменилось, и они очутились вдалеке от всего дальнего шума и блеску, в пустынном диком месте, у подножия высоких гранитных скал, изрытых рукою времени и человека. Огромные громады обломками были рассеяны там и сям по печальной долине, слышно было грустное журчанье ручьев и плеск водопадов, которых не могла сковать холодная рука Севера, кое-где проглядывал ползущий мох или жалкий кустарник из-под тающего снега. Вдали садящееся солнце бросало от себя длинную красноватую полосу и, точно моргающий глаз дремлющего ребенка, дрожало на горизонте; пока все меньше и меньше его красный зрачок, и, наконец, совсем исчезло за черной, далекой окраиной.

— Что это за место? — спросил Скруг в страхе.

— Здесь живут рудокопы, которые из глубокого, сырого недра земли приносят вам то золото, за которым вы столько гоняетесь, люди!..

Слабый свет виднелся из небольшого окна бедной хижины. Они переступили порог и нашли в ней большое веселое общество, собранное около пылающего огня. Под образами на почетном месте сидел старик, белый, как лунь, и жена его, старуха, старая, как он; а около них было собрано в одну семейную картину все многочисленное поколение детей, внучат и правнучат — и все, как заметно было, в своем праздничном наряде. Старик сиплым голосом, который редко подымался над завываньем ветра по голой долине, пел какую-то старинную дедовскую песню про их былое рудокопное дело. Время от времени вся семья соединялась с ним в один громкий густой хор, и голос старика становился крепче и чище, когда ему вторили другие, молодые, свежие голоса, и снова слабел, дрожал, когда они умолкали, — ибо снова он чувствовал себя как будто одним и всеми брошенным на всем великом белом свете.

Дух спешил далее и велел Скругу держаться крепче за его мантию, — и вот они понеслись вдоль долины все дальше и дальше, и наконец завиднелось море, и, к ужасу Скруга, пока он успел оглянуться, земля уже осталась за ними. Кругом видны были лишь темные ряды высоких скал, а страшный прибой волн белыми валами крутил, бил и ревел среди отмелей и надводных пещер, вырытых веками, и, казалось, оглушал громом небо и землю.

На одной из этих страшных пустынных скал и отмелей, в некотором расстоянии от берега, стоял одинокий маяк. Кучи морской травы оплетали низ его, и морские птицы с громким карканьем то черными пятнами садились на его белые стены, то вились и крутились вокруг, относимые ветром. Казалось, их ветер занес сюда и бури вскормили, так же, как эту морскую траву вскормила и вырастила морская бездна. И эта трава так же вилась и крутилась, относимая ветром и белыми гребнями скачущих волн, вокруг одиночного маяка и покрывала его черными клочьями, как и эти сизые птицы, одиночные жители нелюдимого берега.

Но даже и здесь два сторожа, приставленные к маяку, развели в небольшой комнатке, помещавшейся в стенах его, огонь больше обычного, который бросал сквозь узенькое окошко светлую длинную полосу вдоль скачущих волн и засвечивал их белые гребни. Они сидели за большим столом посредине и пили за здоровье друг друга и в честь Светлого Праздника, а один из них, который казался постарше и которого лицо зачерствело от бурь и непогод, как кора на столетнем дереве, начал веселую громкую песню, которая вторила плескам волн и завыванью ветра...

Но вот они снова понеслись, все дальше и дальше вдоль темных бушующих волн, пока, далеко-далеко от всякого берега, они очутились на палубе корабля, одиноко несущегося по открытому морю.

На палубе, на веревках и мачтах — всюду виднелись темные фигуры, сторожившие прихотливое море, но каждая из них напевала вполголоса веселую песню или рассказывала шепотом товарищу о своем далеком родном доме, о том, как этот день хорош в кругу семьи... И кто ни был здесь, добрый или злой, бедный матрос или богатый миллионер-купец, — каждый уберег на этот день более приветливое слово своему товарищу и более или менее принял участие в общей радости всего христианского мира, вспомнил о тех, кого любил, и кем был любим, и кто был теперь далеко, думал о том, как и о нем теперь вспоминают его далекие друзья.

Но к великому удивлению Скруга, пока, прислушиваясь к завыванью ветра, он вдумывался в торжественность минуты, когда, один невидимый, он несся среди безмолвного мрака над зияющей бездной, в которой погребены ее тайны крепче, чем за печатью самой смерти, вдруг раздался рядом с ним веселый громкий хохот. И еще больше было его удивление, когда он узнал в нем голос своего племянника и увидал себя в теплой, ярко освещенной комнате. Дух стоял рядом и насмешливо улыбался ему, приветливо глядя на его племянника.

— Ха-ха-ха! ха-ха-ха! — смеялся племянник Скруга.

Мы уверены, что нет другого человека в мире с таким радушным, звонким смехом от всей души, как этот племянник господина Скруга. Мы бы сами очень желали с ним познакомиться, потому что и нам случается быть не в своей тарелке, — а нет ничего заразительнее, как светлое открытое лицо и при нем добрый, громкий смех от всей души, и ничего так не отталкивает людей друг

Пока племянник Скруга успел нахочотаться досыта, держась за оба бока и мотая головой, молоденькая жена его, глядя на мужа, также захочотала, а за нею и вся честная компания, так что под конец все обратилось в один громкий нескончаемый хохот.

— Ха-ха-ха! ха-ха-ха! ха-ха-ха!

— Право, говорю вам, — кричал, задыхаясь, Скругов племянник, — право, он сказал мне, что Светлое Воскресенье “все пустяки” и что он всех бы нас, кто его празднует, повесил на одной осине!!!

— Тем хуже и стыднее для него, Дмитрий, — сказала наконец его жена с негодованием. Она была очень хороша собой, но еще более мила, чем хороша. Небольшая круглая головка, густые волнистые локоны и маленькие губки, точно две спелые малины. Когда она смеялась, ямочки одна за другую выступали на розовых щечках, а черные быстрые глазки так и сверкали и прыгали кругом, словно зайчики, когда дети играют зеркалом. Она сама казалась только что не ребенком, и в каждом движении ее еще виднелись вся свежесть и игровость детства, едва забывшего свои куклы и светлые беспечные забавы.

— Одно только можно сказать про него: что он пресмешной, брюзгливый старишка! — продолжал ее муж. — Впрочем, он сам себя довольно показывает, так что мне еще быть против него, право, грешно.

— Он должен быть очень богат, Дмитрий. По крайнем мере, ты мне всегда так говорил, — заметила его жена.

— Что нам за дело до этого, моя милая. Его богатство при нем и ему самому не впрок; он не делает с ним добра ни себе, ни другим, сам живет как последний нищий и даже не имеет утешения думать, что это богатство когда-нибудь, хотя другим, пригодится: нам с тобой или нашим будущим детям, — потому что он никогда не любит, нас не больше других.

— С таким человеком нет никакого терпения, — заметили другие дамы.

— Напротив, у меня очень много; мне только досадно за него же самого; я бы не мог на него сердиться, если бы и хотел. Кто страдает от его дурного нрава, как не он же сам? Вот, например, он взял себе в голову сердиться на нас Бог весть за что и не захотел пожаловать к нам отобедать. Кто же в убытке? Он же один, кто потерял вкусный обед,

— Да уж, надеемся, что много потерял с вашим обедом, потому что обед вам делает большую честь, — прервали гости, обратившись к молодой хозяйке.

— Я очень рад, что слышу от вас такие похвалы моей жене, а то, признаюсь, я не слишком полагаюсь на этих молодых хозяек. А к тому, что я уже сказал об дядюшке Скруге, прибавлю еще, что если он отказывается от нашего общества, то потеряет, кроме обеда, еще несколько веселых часов, которых ему уже не возвратить, и несколько веселых, добрых товарищ для праздника, каких ему не отыскать с фонарем на улице или в своей пыльной норе. Впрочем, хочет он или не хочет, а я буду каждый год поздравлять его с праздником и приглашать к себе: потому что он мне просто жалок. Пусть он зовет себе Светлое Воскресенье пустяками и смеется надо мной сколько душе угодно, но он не помешает мне год за годом в срок являться к нему и с тем же веселым лицом просить к себе на Светлое Воскресенье. Хоть если бы удалось мне когда-нибудь настроить его, чтобы он оставил после себя какую-нибудь тысячу рублей своему бедному секретарю! Впрочем, кажется, что вчера мне уже удалось разжалобить его почти до слез.

При мысли о плачущем Скруге он снова готов был хохотать по-прежнему, и вся веселая компания вслед за ним,

Между тем был подан чай, а после чаю была музыка, потому что все они принадлежали к так называемой музыкальной семье. Молодая хозяйка играла очень недурно на фортепиано и между другими мотивами сыграла одну простую небольшую арию (которую часто певало когда-то дитя, которое приезжало за молодым Скругом, чтобы взять его из школы). Песенка эта, казалось, была так проста и такой безделицей, что всякий мог бы наслышаться ее в две минуты, но когда прозвучали перед Скругом эти родные, так давно не звучавшие душе его

звуки, тогда все, что воскресили для него эти две ночи, снова проснулось перед ним, живее и ярче, чем когда-либо... Слезы невольно навернулись на глаза, и ему стало так легко на душе... И он подумал тогда, что если бы в старые годы он чаще прислушивался к этим звукам, то он иначе бы воспитал свою жизнь, для иного счаствия и иных радостей...

Не весь вечер был, однако же, посвящен музыке; потом они играли в фанты, — но позвольте, я было забыл: прежде фантов еще в жмурки. Иногда хорошо бывать и большому немногого ребенком, особливо в дни, назначенные для отдыха и радости, ибо для нас, которых уже коснулась забота и тяжесть грустного земного существованья, нету более минуты той свежей, чистой и полной радости, какую знали так часто былье дни нашего детства, — той радости, которую уже знает каждый едва лепечущий младенец, когда он смеется глазками и тянется ручонками к своей счастливой матери в первом пробуждении всесчастной, светлой, всеблагословляющей любви.

Мы никак не хотим верить, чтобы Скругов племянник дал себе завязать глаза так, чтобы не видеть дальше своего носа, но он, однако, беспрестанно цеплял то за решетки камина, то за стулья, то падал всею своею тяжестью на фортепиана, так что они издавали глухой и протяжный звук... то путался в гардинах. Все бегали кругом и громко смеялись, иные, посмелее, даже дергали его за полы, но ему никого не удавалось поймать, — пока, наконец, почти выбившись из сил, он стащил длинную шаль с плеч старой тетушки своей жены, которая спокойно переходила с одного кресла на другое, и тогда торжественно и с громким "браво!" бросил с себя повязку... Общий хохот поднялся еще громче прежнего.

Потом пошли фанты, игра в вопросы и ответы, шарады, загадки и пр., и во всех этих играх, к скрытой радости ее мужа, всех милее загадывала и отвечала молодая хозяйка, хотя ее сестры и кузины были также очень остроумные девицы. Всех их было человек двенадцать, старых и молодых, считая в том числе и Скруга, и духа, который никогда не был ни стар, ни молод. И все они, старый и малый, принимали живейшее участие в игре, и даже Скруг, забывая, что он тут невидимка и голос его не может быть слышен, до того увлекался общим весельем, что иногда сам предлагал загадки и ждал очень простодушно ответа. Или отгадывал за других, и часто очень удачно. По природе Скруг был очень остроумен и, как видно было, еще не успел притупить всех своих общественных способностей.

Его вожатый был очень доволен своим товарищем, видя его в таком веселом расположении духа, и уже спешил далее, но Скруг, как ребенок, начал упрашивать его еще погодить, хоть крошечку, пока не разъедутся гости. Но на это он получил строгий ответ: "Нельзя".

— Вот новая игра, еще хоть полчасочка, умоляю вас!

То была игра в "да и нет". Его племянник должен был что-нибудь задумать, все другие отгадывали, а он отвечал: да или нет. И вот посыпались на него отовсюду сотни вопросов, положительно утверждавших, что он теперь думал о звере, и скорее об лютом звере, который иногда ворчал и огрызался, а иногда и говорил, и живет в одном городе с ними, но, однако же, не в зверинце, и никто его не показывает за деньги, ходит он иногда по улицам, но не на рынок или на бойню, и что это не была ни лошадь, ни корова, ни осел, ни бык, ни тигр, ни собака, ни кошка, ни даже медведь. С каждым новым вопросом такого рода с молодым хозяином делался новый припадок хохота, так что, наконец, он должен был лечь на диван, чтобы отышаться немножко. Наконец одна из сестер его жены, которая была потолще и уже в летах, впала в такой же припадок и закричала сквозь слезы;

- Я нашла, Дмитрий! Я нашла!
- Что же такое?
- Твой дядюшка Скру-у-у-у-уг!

Действительно, это был он, но на это справедливо заметили некоторые, что на вопрос: не медведь ли? — следовало бы отвечать: да; тем более, что следующего ответа — нет — было бы достаточно, чтобы отвратить мысль от дядюшки Скруга, если, положим, кто и попал на нее.

- Он, однако же, доставил нам случай немало позабавиться сегодня, сам не

Хомяков А. Светлое Воскресенье filosoff.org  
зная того, – сказал племянник, – и было бы великой неблагодарностью с нашей стороны не выпить за его здоровье.

Между тем уже покрывали ужинать на маленьких столиках, и вино было поставлено.

– Вот рюмка старого рейнвейну за здоровье дядюшки Скруга.

Все рюмки были тотчас налиты и – “За здоровье дядюшки Скруга!” – раздалось отовсюду.

– Весело ему отпраздновать и многие, многие лета... – продолжал его племянник. – Он бы и не принял моего поздравления. Но мы все-таки – пьем за его здоровье!

А между тем дядюшке Скругу стало самому так весело и так легко на сердце, что он уже готов был взять рюмку и поблагодарить их громким тостом... что, вероятно, их немало перепугало бы, – но дух не дал ему времени. Все исчезло с последним словом его племянника, и снова они очутились где-то.

Многое они видели, далеко носились и много посетили всяких жилищ, богатых и бедных, роскошных палат, где все говорило об упоительных радостях молодой ликующей жизни, таких, где все дышало тихим и безоблачным семейным счастием, и таких, где томилась голодная нищета или немое бесслезное горе, – но самая радость и счастье казались, для этого дня, светлее и чище от всего земного; горе видело перед собою вдали улыбающуюся надежду, и самая нищета умела прикрываться и забыть себя до завтра. Они становились у постели умирающего страдальца, но его глаза блестали светлой надеждой; рядом с одиноким странником, заброшенным судьбою далеко от родных и друзей, но он был близок в мысли с своими друзьями и родным домом...

Они входили в рабочие дома и тюрьмы, где гнездится и черствеет преступление, в притоны развратной нищеты и порока; но... и здесь душа,казалось, сбросила, хотя не на долгий срок, черствую кору, в которую ее одела привычка порока... Ибо каждый из этих несчастных вспомнил, хотя раз в этом дню, о поцелуе матери или благословенье отца, давно взятых от него сырью землею и давно им забытых; или о светлых радостях детства, которые когда-то приносил ему этот день, и каждое воспоминанье это ложилось светлым небесным лучом в его мутную душу и делало ее снова достойной лучшей жизни и милости Божией.

ДОЛГО И С БЫСТРОТОЮ мысли они носились по темной ночи и влажному воздуху, и всюду дух оставлял за собой привет и благословенье. Но иногда он останавливался в каком-то грустном раздумье над преступником, томившимся в душной темнице, или перед шайкой оборванных бродяг, деливших между собой добычу последнего дня, и делал вслух свои нравоучительные замечания, которые, казалось, не были обращены ни к кому особенно, а относились вообще ко всем людям, а может быть, и к будущему, уже исправленному Скругу.

И он говорил так: не презирай в своей слепой гордости ни одного из этих несчастных, как ни черно его преступленье и ни грязен его порок. Знал ли ты когда нужду и голодную нищету? И дышал ли ты с детства воздухом, уже зараженным пороком? И знаешь ли ты, сколько весит в этих пороках и преступлениях людей, твоих братьев, тот избыток земных даров, которым тебя наградила прихотливая судьба, и сколько ты сам в них участник одним твоим богатством, которое ты безумно копишь или расточаешь. Там, где бы расцвести всей свежей, благоухающей прелести детства, – там голодная нужда и забота заранее провели свои тяжелые борозды на нежных чертах; детский лепет уже заражен хулою, которую он слышит, ясные и светлые образы уже заслонены на молодом челе грозными тучами будущего и ядовитым прикосновением порока... А раз первый шаг в нем сделан и душа получила свой сгиб ко злу, и нету любящего сердца, чтобы уберечь и спасти ее, – тогда нет более того униженья человеческого достоинства, до которого она не могла низойти! (разве Господь над нею сжалится и пришлет своего ангела-хранителя...) И лукавый гнездится тогда в душе, которая, казалось, сотворена была, чтобы петь вместе с ангелами Божью хвалу... И что же ты после этого, если ты не знавал нужды, и любовь матери, и разум отца от колыбели стояли над тобой ангелом-хранителем, и ни один нечистый образ, ни одна нечистая мысль не смели коснуться и бросить тень на твое светлое, прозрачное, как светлый Божий день, существование!.. А душа в тебе черства к добру, и сердце порочно... А если б ты был и праведник, можешь ли еще гордиться собой и

Скруг иногда вздрагивал при таких словах и пробовал сказать что-то, но слова замирали на устах.

Но вдруг пробило двенадцать, Дух и все исчезло, и он снова очутился в своей комнате, и при последнем ударе колокола вспомнил о предсказанье Марлева, и, подняв глаза, увидел перед собой торжественный призрак, окутанный с ног до головы в черный саван и, как туман стелется по полу, несшийся к нему навстречу.

#### Глава IV

Дух приближался тихо, торжественно и безмолвно. Когда он подошел к нему, Скруг невольно упал на колени, ибо в самом воздухе он, казалось, разливал вокруг себя мрак и таинственность. Он весь был закрыт черной мантиею, которая скрывала от Скруга его голову, лицо и фигуру, так что видна была одна повелительно распостершая рука. И если бы не эта рука, то трудно было бы отличить его от густого мрака, в котором он двигался.

Скруг мог разобрать только, что призрак был высокого, величественного стану. Он стоял молча и недвижимо, и его присутствие невольно наполняло Скруга каким-то благоговейным страхом.

— Я перед духом будущего? — спросил Скруг.

Дух не отвечал, но указал рукою вперед.

— Ты мне покажешь тени того, чему еще быть впереди! так ли, дух? — продолжал Скруг.

Верхняя часть савана скжаслась на минуту в складки, как будтоказалось, что дух кивнул головой. Другого ответа не было.

Хотя Скруг уже успел привыкнуть к обществу духов, но им овладел такой страх перед той новой безмолвной тенью, что ноги дрожали под ним и он чувствовал себя едва в состоянии за ним следовать. Дух приостановился на минуту, как будто заметив это и давая ему время оправиться; но Скругу вовсе не было легче от такой благосклонности духа. Его проникал какой-то темный ужас при одной мысли, что из-за черного савана на него устремлены два блестящих таинственных глаза...

— Дух будущего! — вскрикнул Скруг. — я боюсь тебя больше обеих теней, твоих предшественниц; но я знаю: ты пришел ко мне с добрым намерением, и сам я надеюсь быть скоро другим человеком, и потому готов всюду за тобой с благодарным легким сердцем.

Но ответа снова не было, и рука только показала пальцем прямо вперед.

— Веди же, — сказал Скруг, — веди, ночь коротка и время дорого; я знаю это, веди же, призрак.

Дух понесся, и за ним некая другая невидимая сила схватила и повлекла Скруга.

Нельзя сказать, чтобы они вошла в город, потому что, казалось, дома и улицы сами собой вырастали из земли вокруг них и снова исчезали вслед за ними. Наконец они очутились на бирже, среди купцов, которые спешили туда и отсюда, звенели золотом в кошельках, толковали кружками о делах своих или смотрели на часы, перебирая в руках толстые золотые печати. И все так же, как и всегда... и как часто сам Скруг видел такую сцену и бывал в ней актером.

Дух остановился перед одним небольшим кружком.

— Нет, — говорил один толстый господин с выпятившимся подбородком, — я хорошенъко не знаю этого, только знаю, что он умер.

— Когда умер? — спросил другой.

- В эту ночь, кажется.
- Что с ним такое было? – спросил третий, взяв значительно щепоть табаку из толстой золотой табакерки. – Я уже думал, что он никогда не умрет.
- Бог весть что, – сказал первый, зевая.
- Что сделал он с своими деньгами? – спросил подошедший господин с красным лицом и толстым, сизым, почти висевшим носом, точно у индейского петуха.
- Я ничего не слыхал, – сказал, снова зевая, господин с длинным подбородком. – Знаю только, что мне они не достанутся и что на похороны свои он, вероятно, тоже многое не истратит; да и правда: некому пойти на них.
- А что бы нам всем отправиться компанией? – заметил другой, смеясь.
- Я бы пошел, если бы знал, что будет хороший завтрак, – отвечал господин с отвислым носом.
- Да ему и в гробу не соснется при одной мысли, что угощают нас на его похоронах, когда и от живого никто не видел рюмки водки или куска хлеба закусить поутру, – заметил кто-то.

С этими словами поднялся новый хохот.

- Видно, что я еще самый бескорыстный изо всех вас, – продолжал первый, – потому что никогда не завтракаю, и я готов идти, если найду товарища. Впрочем, когда хорошенько подумаю, мне кажется, у него не было лучшего друга на свете, потому что мы всегда очень дружески разговаривали, когда встречались на улице.

Все разговаривавшие, однако же, разошлись и смешались с другими кружками. То были все знакомые Скруга. И он уже собирался спросить у духа объяснения, что значили эти толки, но призрак понесся далее вдоль улицы, указывая рукой на две фигуры, разговаривавшие между собою. То были также его знакомые, люди очень богатые и с большим весом в деловом мире, около которых он всегда очень ухаживал и очень старался, чтобы стоять высоко в их мнении. Он стал прислушиваться.

- Как вы сегодня? – говорил один.
- Слава Богу, – отвечал другой.
- А знаете ли, что старая карга наконец доплела свой век?
- Да, я слышал, – отвечал тот, – а не правда ли, холодно?
- Да, порядочно...
- Простите! – и они разошлись; более ничего не было сказано.

Скруг сначала не мог понять, какую важность мог придавать дух таким пустым, по-видимому, разговорам, но, подозревая в них другой, скрытый смысл и тайный урок для себя, он не проронил ни одного слова и надеялся, что появление его будущего себя, как он того ожидал по примеру первых двух ночей, даст скорую разгадку всему.

Они в это время проходили мимо его конторы, и он заглянул в окошко, надеясь там увидеть себя, но к его удивлению за большим столом сидела какая-то другая фигура.

Он обернулся как бы с вопросом, – но перед ним в том же мрачном и спокойном положении стоял призрак с простертую рукою, и ему казалось, что мрачные блестящие глаза смотрели на него сквозь черный саван. Он невольно вздрогнул всем телом и почувствовал холод во всех жилах... а между тем они очутились уже далеко. Он увидел себя в отдаленной части города, в которой прежде этого никогда не бывал и знал ее только по ее дурной славе. То был ряд низеньких, грязных, полуразвалившихся домов, из которых отовсюду выглядывали нищета и лохмотья, из низеньких окон раздавались громкие пьяные

крики и песни, на улицах встречались одни оборванные фигуры и пьяные лица. В одном из закоулков глухого переулка они остановились перед полурасторванной дверью, из-за которой выглядывала старая оборванная фигура, сидевшая на прилавке, а около нее были навалены целые кучи всяких грязных лохмотий, ломаного железа, битого стекла и всякой тому подобной дряни.

Скруг и призрак остановились перед дверью в ту самую минуту, как в нее прокрадывалась закутанная в платок женщина с толстым узлом под мышкой. Но едва она взошла, как другая женщина с таким же узлом тихонько прокралась вслед за нею. Казалось, они очень удивились, когда увидели себя друг против друга, но, наконец, кончили громким хохотом, к которому скоро присоединился и сам хозяин.

– Надо же, случай такой, чтоб мы сошлись обе здесь, вот уж судьба так судьба! – говорила одна из них.

– Вы, кажется, не могли встретиться в лучшем месте, – отвечал хозяин, – и все мы, надеюсь, старые знакомые! Но прошу пожаловать во внутренние покои, между тем позвольте запереть дверь.

И он запер ее на замок. Эти внутренние покои были такая же грязная каморка позади, отделенная какою-то запачканной занавеской в лохмотьях. Когда они входили, одна из женщин обернулась и значительно посмотрела на другую.

– Что вы на меня так посматриваете? – сказала другая. – Надеюсь, что мы не станем подмечать друг за другом всякую соринку.

– Надеюсь, что нет, – впутался тут старик в лохмотьях.

– Да разве у кого-нибудь убыло этим добром? – кричала одна, указывая на свой узел. – Надеюсь, по крайней мере, что не у покойника.

– Да уж вправду, – отвечала ее знакомая, смеясь. – Если б он хотел уберечь за собою свое добро, старый скряга, то зачем он не подумал об этом при жизни и не умел никого привязать к себе? Тогда было бы кому посмотреть за ним, когда стукнул последний час, и он не умер бы на старости лет один и всеми заброшенный, как собака.

– Можно было бы прибрать словцо еще потяжелее для него...

– Ну что до него, – прервала другая, – я бы лучше хотела, чтоб мой узелок был потяжелее, и уж, признаюсь, если бы еще попало что-нибудь под руку, уж не упустила бы.

– Ну, а теперь к делу. Развяжи-ка этот узелок, дядюшка Федорыч, и говори прямо, что дашь.

Узел был развязан, в нем были полотенцы, салфетки, несколько серебряных ложек и старых сапогов. Дедушка Федорыч записал на стекле, чего стоит каждая вещь, счел итог и объявил его: “И больше ни полушки, хоть лопнуть; и то много передаю вам из одной учтивости, а будете просить больше, так и этого не дам”. Дело было тотчас уложено без дальнейших споров, и деньги отсчитаны.

– Ну, теперь мой узелок, – обратилась к нему другая женщина.

И он вытащил из него какой-то толстый, тяжелый свиток.

– Ну что это: занавески с постели?

– Да, занавески, – отвечала она со смехом.

– И ты стащила их, пока он еще лежал на ней?

– А почему же нет?

– Да, я уж всегда говорил, что ты молодец баба! и везде найдешь себе дорогу.

– Уж надеюсь, что я не выпущу из рук, что раз попало в них, да еще ради

Хомяков А. Светлое Воскресенье filosoff.org  
такого молодца, как он! – отвечала она спокойно. – да смотри не закапай его одеяла и рубашку.

– Его одеяла?

– А чьи же бы ты думал? Он и без них простудится! да уж, нечего перевертывать рубашку, не найдешь ни одной дырочки; это самая лучшая, какая была у него, да еще голландская. Они бы ее совсем погубили, если б не я.

– Как погубили?

– Да для похорон, – отвечала женщина со смехом, – кто-то уже хотел надеть на него, да я не дала. Бумажная так же хороша для него.

Скруг с ужасом вслушался в этот разговор, а когда они сидели над своей добычей при пылающем свете дрожавшей в руках старика свечи, они казались больше злыми духами, слетевшимися на добычу, чем людьми.

– Ха-ха-ха, – продолжала она, когда деньги были также отсчитаны. – Недаром же он разогнал от себя всех родных и друзей, пока был жив, нам же пригодился, когда умер.

– Дух, – сказал Скруг, дрожа всем телом, – я хорошо вижу, что и меня ожидала та же судьба... моя жизнь вела туда!.. Но Боже мой, что это еще? – и он отошел несколько шагов назад в ужасе.

Сцена переменилась: он стоял возле постели, на которой лежало под покрывалом в лохмотьях холодное, недвижимое что-то... которое довольно говорило о себе, хотя и было безмолвно. Комната была очень темна, и как ни всматривался Скруг по какому-то странному влечению любопытства, но не мог разглядеть ее. Слабый свет из окна падал прямо на постелью, и на ней лежал всеми заброшенный, ограбленный, никем не оплаканный труп этого человека... Никто, хотя бы из христианского милосердия, если не любви, не сторожил его и никто не творил над ним молитвы.

Скруг взглянул на призрака: его неподвижная рука указывала на голову. Покрывало было так небрежно накинуто, что малейшим движением пальца можно было поднять его и открыть лицо. Он подумал об этом, но рука была бессильна подняться.

О холодная, строгая, тяжелая рука смерти, ты поставила здесь престол свой и убрала его всеми твоими ужасами, ибо здесь ты беспрекословно царствуешь. Но ты не можешь властвовать по своему над любимой, всеми благословляемой и чтимой головою и не можешь обезобразить ни одной черты ее. Рука так же тяжела и упадет с тем же глухим и мертвым звуком, если приподнять ее, сердце так же недвижимо, кровь застыла и жилы не бьются. Но эта рука была всегда открыта бедному, щедра на милость и подаянье и всегда верна себе, когда раз дана была взамен истины. Но это сердце не знало робкого страха, оно не страшилось и не сжалось перед тобой, оно было горячо и любящее, а эти жилы никогда не дрожали для низкой страсти. А потому и сама смерть безвластна над вами и не смеет исказить Божьего лица там, где сама душа не изменяла ему. Смотрите... Смерть, ты ударила его твоей тяжелою косою, а его чистые дела живут за ним и разливают благословенье алчущим людям, и память его еще цветет и благоухает в мире.

Не было голосу, который бы шепнул на ухо эти слова Скругу, но он как бы слышал их в самом воздухе, окружавшем покойника. И он подумал: если бы этот человек встал теперь, какая была бы его первая мысль и забота? деньги, и опять деньги, и грызущая зависть к другому, более наделенному. Но к чему же вы привели его, жадность богатства и отсутствие всеблагословляющей любви? И он лежит теперь один в пустом, мрачном доме, и нет никого, кто бы мог помянуть его добром и хотя бы в память одного доброго слова принести ему свою любовь и участие в эту последнюю торжественную минуту нашего мутного скоропреходящего века. Слышно было только, как кошка металась за запертою дверью и жадные крысы точили и грызли под полом. Чего они хотели в жилище смерти, отчего так жадно шумели? – об этом Скруг не смел и подумать.

– Дух, – сказал он, – это место наводит ужас. Я не забуду его урока. Верь мне. Идем же.

Но Дух продолжал указывать недвижимо пальцем.

– Я понимаю тебя, – отвечал Скруг, – я давно думал... но рука не движется и не слушает мысли.

Дух снова как будто посмотрел на него.

– Если есть в мире хотя одна добрая душа, на которую эта смерть произвела впечатление, то покажи мне ее, я умоляю тебя!

Призрак махнул своей черной мантией, точно ворон крылом, и перед ним вдруг показалась небольшая комната, освещенная лучами солнца, и в ней молодая женщина с своими детьми. Видно было, что она с большим нетерпением кого-то ожидала, ходила взад и вперед и вздрогивала при каждом звуке, – то смотрела в окошко, то на часы и, казалось, с большим усилием над собою сносила шум и беготню играющих вокруг детей.

Наконец зазвенел давно ожидаемый колокольчик, и она бросилась к двери навстречу своему мужу. Он казался человеком еще молодым, но тяжелая забота уже оставила свои глубокие следы на открытом широком челе. Какое-то странное выражение видно было на его лице в эту минуту, – какого-то грустного удовольствия, которого, казалось, он сам стыдился и старался, но не мог подавить его. Когда жена его спросила, какие вести? – он словно смешался и не знал, что отвечать ей.

– Дурные или хорошие? – наконец, сказала она.

– Дурные, – отвечал он.

– Мы разорены? – и она взглянула на детей.

– Нет, Саша, еще есть надежда.

– Так он смягчился? – сказала она с удивлением. – После этого всего можно надеяться, когда над ним совершилось такое чудо!

– Смягчаться ему уже нечего... Он умер!..

Она была кроткое и любящее созданье у Бога – если только верить ее светлым живым чертам. Но при этом страшном слове “смерть”, вместо другого, лучшего чувства, невольная радость показалась на лице ее, и эта грешная, дурная радость вырвалась невольным веселым восклицанием. Но в следующее мгновенье другое, более угодное Богу чувство уже накинуло тень на ее просветлевшее лицо, ей стало больно и стыдно самой себя. И она уже просила у неба прощения в грешном движении души, которого не умела удержать даже при детях, коих самое небо вручает матери в охрану от всякого грешного дуновения земли.

– То, что мне сказала вчера пьяная женщина, когда я хотел добиться, чтобы он меня принял и дал отсрочку хоть на неделю, – сущая правда. Он не только был болен, но тогда уже при смерти.

– К кому же перейдет наш долг?

– Не знаю.

– Но до тех пор деньги будут, а если и нет? Не все же такие бездушные заемодавцы, как он. Мы можем пока спать спокойно, а там Бог милостив.

И вправду, с этой смертью у них много отлегло с сердца, и дети, как ни мало понимали, в чем дело, видя просветлевшие лица отца и матери, стали также веселиться.

Со смертью этого человека одной счастливой семьей стало больше, и, кроме грешной радости в чистом и любящем сердце, она ничего по себе не оставила.

– Покажи мне другую, оплакиваемую смерть, – сказал Скруг, – чтобы мне лучше понять все благословение иной жизни.

С этим словом они внезапно очутились в знакомом нам жилище Кричева, где они нашли жену его и детей сидящими вокруг топившейся печки. Все было тихо, очень тихо; маленькие, обыкновенно столько шумевшие дети сидели неподвижно

Хомяков А. Светлое Воскресенье filosoff.org  
в одном углу и смотрели пристально на Петрушу, который держал в руках книгу. Мать и дочери были заняты шитьем.

... И принял отрока, и поставил его посреди их...

Откуда же послышались эти слова Скругу? Не могли же они присниться ему; должно быть, что Петруша прочел их, когда они переступали порог; но отчего же он остановился и не продолжал дальше?

Мать положила свою работу на стол и закрыла лицо руками.

– У меня глаза начинают болеть от работы при свечах, – сказала она, желая скрыть слезы от детей.

Нет, не глаза болели у тебя, бедная мать! – а эти слова напомнили тебе про твоего бедного Степу, которого Богу угодно было взять от вас!

– Им лучше теперь, – продолжала она, отнимая руку от глаз, – но я ни за что бы не хотела, чтобы ваш отец это заметил; а ему скоро прийти домой, уже время. – И она принялась снова за работу.

– Да, уже время, – отвечал Петруша, закрывая книгу. – Но мне кажется, матушка, что в эти последние дни он ходит тише обычного.

Несколько минут продолжалось молчание. Наконец, приободрившись, она сказала веселым, хотя и не раз вздрогнувшим голосом:

– Однако ж я хорошо помню, что он еще недавно хаживал и очень скоро, да еще с Степой на руках.

– Как же не помнить! – закричал Петруша, а за ним и другие дети.

– Но он был такой легонький, – продолжала она, снова наклонившись к своей работе, – но отец так любил его, что ему тяжко было носить его.

Она пошла навстречу ему, дети бросились тоже, а двое маленьких взлезли к нему на колени и обняли его ручонками. Он был очень весел с детьми и хвалил лежавшую на столе работу жены и дочерей. Но когда они сказали, что к воскресенью эта работа будет кончена, при слове “воскресенье” лицо его снова омрачилось.

– Да, в воскресенье, – продолжал он, – не забудем пойти на его зеленую могилку; мы часто будем ходить к нему, не правда ли? Я ему обещал, что приду в воскресенье. Мой бедный маленький Степа!

И он не выдержал дольше, и слезы ручьями покатились из глаз, и он вышел в другую комнату рядом, где еще стояла в углу маленькая пустая кроватка, и заметно было, что еще недавно покоилась в ней, на этих подушках, чья-то маленькая головка.

И долго-долго он стоял над нею, скрестив руки и в тихой молитве, пока успокоил душевное волнение и снова помирисся с небом, которое отняло у него его любимого маленького Степу. Он воротился к своим, и они долго еще толковали между собой в семейном кругу. Отец рассказывал про необыкновенную благосклонность племянника господина Скруга, которого едва раз только видел и который, встретив его на улице и заметив, что он что-то невесел, спросил его, что случилось с ним.

– Тут я рассказал ему свое горе, а он сказал мне: “От души мне жаль вас, господин Кричев, и от души жаль вашу добрую жену”, – а как уж он про тебя узнал, между прочим, – уж, право, не знаю.

– Что, я добрая жена?

– Надеюсь, что это всякий знает, – заметил Петруша.

– Очень ловко замечено, мое дитя, – сказал Кричев. – Надеюсь, что да. И вот он мне дал свой адрес, говоря, что “если только могу чем-нибудь быть вам полезен, вы меня вспомните; пожалуйста же, заверните как-нибудь”. И не то чтобы он многое мог сделать для нас, но все это было сказано от такого доброго сердца, что, право, нельзя было не порадоваться. Словно он знал

- Я уверена, что он добрая душа.
- Да, а если бы ты еще видела его и с ним говорила. И совсем не мудрено, что найду через него другое место, получше, для Петруши.
- Петруша будет скоро уже сам по себе у кого-нибудь в подмастерьях, – сказала одна из девочек, – и важным человеком.
- Будет ли это или не будет, – продолжал отец, – но я уверен, что кому бы из нас ни пришлось расставаться, ни один из вас никогда не забудет бедного Степу. Не так ли, дети? Это ведь было наше первое расставанье...
- Нет, никогда! – кричали все в один голос.
- Верю вам, – продолжал отец, – и уверен, что пока мы будем помнить, как кроток и терпелив он бывал всегда, несмотря на страданья, которые ему посыпал Господь, и как ни мал он был взят от нас, – между нами не будет никогда вражды и ссоры, ибо это значило бы забыть бедного Степу и изменить его памяти.
- Нет, нет, никогда! – кричали снова все в один голос.

– Итак, я снова счастлив, дети, если вы мне обещаете, что Степа, хотя и взятый от нас, будет всегда жить с вами памятью своей любви и кротости.

И с этими словами все бросились к отцу, чтобы обнять его: и мать, и дочери, и Петруша, и маленькие дети...

Бедный Степа, ты умер еще ребенком и не мог еще ничего сделать, ни дурного, ни хорошего, но ты был всегда любящий и кроток, и ты оставил за собой в твоем тесном кружку благословение любви и кротости! И этого довольно. Видно, что душа твоя была одна из избранных у Господа Бога!

– Дух, – сказал Скруг, – я чувствую, что нам скоро расстаться, скажи же, кто тот покойник?

Но дух продолжал идти далее.

– Это мой дом, – сказал Скруг, когда они проходили мимо. – Покажи же мне, что будет со мною?

Дух остановился, но показал рукою в другую сторону.

– Дом мой вон где, – вскрикнул Скруг, – зачем же ты указываешь в другую сторону?

Но неумолимый указательный палец оставался недвижим, и вот они очутились за городом, на кладбище. Дух остановился между гробниц и указывал на одну из них. Скруг следил за ним, дрожа всем телом. Призрак, казалось, остался тот же, но его походка получила новую страшную торжественность.

– Прежде чем я подойду ближе к этому камню, – сказал Скруг, – отвечай мне на одно: все эти тени – то ли, чему непреложно быть, или только то, что быть может? Дела человека приводят его неизбежно к известному концу. Но если он изменит свои дела? Так ли?

Но дух оставался по-прежнему недвижим и указывал пальцем на гробницу. Скруг подполз к ней, дрожа всем телом и, следя за пальцем, прочел на заброшенном камне следующую надпись: Петр Скруг.

– Так этот покойник, лежавший на постеле, был я?.. – вскричал он и упал на колени.

Дух тихо повел пальцем на него и потом от него к гробнице.

– Нет, дух, нет! – Но дух по-прежнему недвижимо указывал на камень. – дух! – вскричал он, цепляясь за его саван, – выслушай меня: я больше не тот человек, что был, и я не буду больше тем, к чему вела меня моя грешная жизнь. И к чему было давать мне твой строгий урок, если для меня нет больше

И в первый раз рука духа задрожала.

— Добрый Дух, — продолжал он, пав ниц перед ним, — я знаю, что твое сердце говорит за меня. Обещай же мне, что я могу еще изменить эти тени, изменив свою жизнь.

Рука духа дрожала.

— Я буду, обещаю тебе, строго соблюдать все праздники и от всей души воздавать всю долгую честь Светлому Христову Воскресению! Я отдаю свою жизнь, чтобы сделать, по мере сил моих, вечное Светлое Воскресенье для моих страждущих братий! Я буду жить вами, настоящее, прошедшее и будущее, ибо каждый из вас, благодетельные духи, открыли мне новое, неведомое мною дотоле, Божье благословение в жизни, и уроки всех вас, благодетельные духи! осветят и поведут за собой остаток моих дней на искупление всего, что доселе прожито мною в слепоте души и разума. О скажи мне, что я могу еще смыть с человеческого будущего тот страшный конец, к которому вела меня моя грешная, слепая жизнь!

И в своем отчаянии он схватил за руку призрака. Призрак хотел освободиться, но тот судорожно держал ее... Между ними завязалась борьба.

И он проснулся, стоя на коленях, с поникшей головой и с теплой, еще не остывшей молитвой на устах, чтобы небо склонилось над его грешной душой и благословило ее на подвиг новой возрожденной жизни...

## Глава V и последняя

И действительно, он стоял на коленях и на своей же постели. Кровать была та же и комната та же, и, благодаря Бога, время еще его и будущее в его власти.

— Я начну новую жизнь и искуплю прошлую! — кричал Скруг впросонках и вскакивая. — Благодетельные духи, прошедшее и настоящее, и ты, грозная тень будущего, — ты осенишь и поведешь за собой мое живое будущее на исправление моей грешной, заранее склонившей себя души. О Марлев! Мне никогда не забыть твоей услуги! И Светлое Воскресенье, над которым я еще недавно так издевался, как мне не благодарить и не благословлять тебя! На коленях благодарю вас, Марлев и Светлое Воскресенье!

Все это он говорил дрожащим голосом, всхлипывая и прерываясь на каждом слове... в каком-то странном полусладком состоянии духа, равно принадлежащем этому и тому миру. Он, казалось, продолжал наяву и с открытыми глазами свой прежний сон, — был не в силах освободиться от его оглушающих впечатлений и очнуться на мир действительный, хотя глаза его и были открыты...

Он тяжело дышал, и грудь его высоко подымалась; слышно было мерное и глухое биение его сердца — среди окружавшего безмолвия... Казалось, все жилы будто звенели в нем и кровь словно отхлынула от сердца и изменила свое привычное течение в сосудах и жилах.

Во время борьбы своей с Духом он горько и долго рыдал, и его лицо было еще все в слезах. И как странно было видеть эти слезы на этом огрубелом лице... Но с каждой новой крупной слезою, тяжело и тихо катившейся из непривычных глаз, грудь его дышала вольнее; казалось, отлегала от нее хотя частица ее давившего бремени... и словно небесная роса ниспадала в его отягченную душу. И каждая слеза эта оставляла за собой и на очерствелом лице дотоле не замеченную светлую черту, приветливую и улыбающуюся всему дальнему Божьему миру, как будто смывая и унося с собою грубую кору, в которую одела эти черты привычка душевного холода.

Он обвел глазами постель и занавесь и радостно вскрикнул: “Нет, благодаря Бога, я еще не покойник, занавесь и одеяло еще целы, — и он судорожно схватился за них. — И я сам еще живу и дышу! Тени будущего! Вы еще можете быть рассеяны, как грозовые тучи уходят с нашего северного неба, рассеянные другим подувшим ветром, из другого, более счастливого, благословленного

края. Да: сердце не обманет, не обманет вера в благость Провидения, которое спасает человека с краю пропасти, когда есть еще для души его хотя одна светлая, чистая минута, которая даст ей крылья..."

Он до того был взволнован, до того был полон всяких боровшихся в нем добрых чувств и намерений и горел нетерпением исполнить их и обновить себя, что насили у находил голос для своих слов и мыслей.

И он еще долго оставался недвижим, и на коленях, склонив голову и скрестив руки, казалось, в тихой душевной молитве... а слезы продолжали одна за одной тихо катиться и падать у ног его... Наконец он поднял голову: солнце полными праздничными лучами ударяло в окно – и возвратило его в мир действительный.

– Прочь, тяжелые думы! – наконец сказал он и тряхнул волосами на голове, – благодаря небу, я теперь уже другой человек... – Но на этом слове он остановился... – Другой человек... но где же твое оправданье? И разве не при тебе еще тяжелая вереница той цепи, которую ты ковал себе год за годом?.. Но будущее еще в моих руках!.. О!.. Как должен же я дорожить его каждым мгновением, чтобы смыть с себя свое прошлое! – И с этими словами он судорожно вскочил.

– Право, не знаю, что с собой делать, – наконец вскрикнул он и засмеялся в то же время, и выделявал из себя настоящего Лаокоона, когда принял второпях натягивать на ноги длинные чулки и завязывал на спине свою фуфайку.

– Право, голова у меня так и кружится, как у пьяницы; я чувствую себя легким, как будто перушко, счастливым, как будто в раю, и весел, как школьный мальчишка! Христос же Воскрес всем и каждому, кто бы ни был. Христос Воскрес!

И он подпрыгивал, сидя и ворочаясь на постеле так, что доски под ним трещали и крякали, и во все это время, сам не замечая того, продолжал возиться с своим платьем: то вывернет его наизнанку, то наденет зад на перед, то забросит в угол и потом ищет, сам не зная, что делает...

Наконец он выскочил в другую комнату и остановился.

– А вот и дверь, в которую вошел Марлев, вот угол, где стоял дух настоящего, а вот окошко, в которое я смотрел на летавшие тени, – и все это правда, все это было – ха-ха-ха, – и он захохотал изо всей своей мочи, так что самые губы, казалось, удивились такому сильному непривычному движению. – Я не знаю, какое сегодня число в месяце и какой день в неделе! – наконец вскричал он. – Кто знает, сколько я пробыл в мире духов; я ничего не знаю, я совершенный младенец; впрочем, и не беда! Не лучше ли же для меня стать вовсе ребенком? и начать жизнь съзнова? Ха-ха-ха! Эй! Хо!

Но вдруг он был прерван в своих восторгах звоном во все колокола, которые громко и радостно гудели над городом: "бим-бом-бом! дон-дон!" Чудо! Право, чудо!

И он побежал к окошку, отворил его и высунул голову. Нету больше тумана, все так светло и солнечно, светлый праздничный день и здоровый проникающий холод.

И он сошел вниз, отворил дверь и стал на крыльце дожидаться лавочника. Пока он тут стоял и дожидался, нечаянно ему бросился в глаза старинный резной замок у двери.

– Я буду любить и благословлять тебя во весь остаток моей жизни, – говорил себе Скруг, поглаживая его рукою. – Право, чудесный замок, замок, каких нет! И когда взглянусь в него, точно плут мне улыбается, и с такой честной улыбкой! А вот и петух, ну уж петух! Да, Христос Воскресе, братцы! – и он весело похристосовался с лавочником и с уличным мальчишкой.

– И вправду, петух уж был на славу: хорошо, что его убили к празднику. Где уж ему было на ногах стоять? один зоб перевесил бы на сторону.

– Вот адрес, но это далеко отсюда, на самом краю города, надо будет взять извозчика!

Надо было видеть довольную улыбку, с которой он сказал это. Он самодовольно улыбался, когда давал на извозчика и расплачивался за петуха, и когда положил в руки мальчику целковый. Когда он взбежал наверх и уселся в большое кресло, чтобы отдохнуть, его лицо еще более прежнего расцвело разными самодовольными улыбками...

Но пора уж было бриться. Бриться для него было теперь нелегкой задачей, потому что рука продолжала дрожать у него, а бритье такая проклятая вещь, что часто насажаешь черных мух на подбородок, когда рука и не думала дрожать. Я всегда очень завидовал благополучию тех, которые избавлены от этого приятного занятия, и еще более дамам, которые даже лишены возможности его. Впрочем, на этот раз если бы Скругу даже случилось обрезать кончик своего носа, он, вероятно, не обратил бы никакого особенного внимания на такое обстоятельство и, спокойно залепив его пластирем, пошел бы себе, предовольный собою.

Наконец его туалет был кончен. Он нарядился в свое лучшее платье и вышел на улицу. Отовсюду так и валили толпы народа, и Скруг расхаживал между ними с такой веселой, сладкой улыбкой, казался так счастлив, так приветливо смотрел – только что не в глаза каждому, что несколько человек, совершенно незнакомых ему, повстречавшись с ним, говорили ему: “Не правда ли, какое славное утро! Христос Воскрес!” – и он отвечал им: “Воистину воскрес!” – и весело христосовался. И много лет спустя это время Скруг еще любил повторять, что изо всех радостных звуков, которые только он запомнил в свою жизнь, не было для него радостнее, как этот первый, невольный, казалось, ничем не вызванный привет от людей, его братий, его просветлевшей душе, которая, вправду, казалось, так и рвалась наружу после долгого тлена ее прежнему, черствому, ее притуплявшему существованью.

Он недалеко отошел, когда ему повстречался толстый господин, который накануне заходил в его контору с разными благотворительными предложениями и даже не знал, входя к нему, Скруг он или Марлев. Сердце в нем сжалось при одной мысли, каким взглядом его встретит этот почтенный благотворительный господин, – но он знал теперь прямую дорогу, которая лежит перед ним, и он не свернулся в сторону.

Он ускорил шаг и, взяв толстого господина за обе руки, сказал ему;

– Что, как вы? Надеюсь, что вы вчера успели. Да что же! Христос Воскрес!

– Господин Скруг?

– Да, Скруг! Это мое имя, и я боюсь, что оно не совсем приятно звучит вам, но позвольте извиниться и будьте так добры... – И с этими словами он шепнул ему что-то на ухо.

– Как! – вскричал толстый господин от удивленья, – да что вы шутите, мой любезнейший господин Скруг?

– Как вам угодно, – отвечал Скруг, – но что до меня, то ни полушки меньше. И не удивляйтесь этому, я тут плачу зараз свой старый долг за много, много лет, и счел разумеется, и следующие проценты. Так что же, надеюсь, вы не отказываетесь.

– Мой добрый господин Скруг, – отвечал ему его новый приятель и дружески жал ему руку, – право, я не знаю, чем отвечать вам на ваше великолуду...

– Пожалуйста, будет! Что до этого! – прервал Скруг. – Только заходите ко мне в контору за векселями. Надеюсь, что вы посетите меня, хоть завтра?

– Непременно – ждите меня!

– Очень, очень вам обязан и благодарю вас, – и они снова пожали друг другу руки.

И долго он в раздумье бродил по улицам, без цели и куда глаза глядят, и странно: хотя он был погружен в себя, может быть, более, чем когда-либо, никогда и никакая прогулка еще не доставляла ему такого удовольствия; столько ему было нового в том что он видел ежедневно и чего доселе не умел видеть. Наткнувшись на маленького, спешившего куда-то мальчика, он останавливался, гладил его по головке и христосовался с ним красным яичком.

Он не пропустил ни одного нищего, чтобы не остановиться и с вниманием не расспросить его и не наградить его щедрою рукою для празднике, смотря по нужде каждого. Все казалось, улыбалось ему: люди, улицы, дома... – все казалось по-прежнему, и ничто не могло же так измениться с вчерашнего дня, хотя сегодня и было Светлое Воскресенье? Разве он не запомнит в свою жизнь десятки таких же Светлых Воскресений, как самое, бывало, несносное для него время, ибо оно прерывало ему, Бог весть из чего и вследствие каких разумных причин, привычный ход и плавное, ничем не нарушающее течение его жизни и занятий... Но это от того, что его душа теперь несла в себе светлую радушную улыбку и кроткое любящее чувство ко всему, что только дышит и движется на великом Божьем мире.

Между тем он как-то невольно и почти сам не зная того, все это время приближался к улице, на которой жил его племянник, и вот наконец он в нескольких шагах от его дома. Не раз он повернулся взад и вперед вокруг двери, пока собрался с духом, чтобы подойти и позвенеть в колокольчик.

– Дома барин? – спросил он, когда ему отворили дверь.

– Дома-с, прикажете доложить?

– Нет, незачем: мы с ним хорошие приятели, я взойду и без докладу.

И с этими словами, не дожидаясь долее, он взбежал на лестницу и, повернув замком в столовую, легонько растворил дверь и заглянул в нее.

Хозяин и хозяйка стояли возле накрытого стола и распоряжались какими-то новыми приготовлениями к праздничному обеду. Известно, что молодые хозяева и хозяйки всегда очень заботятся, чтобы все у них было хорошо и в порядке.

– Христос Воскресе, Дмитрий! – закричал Скруг, растворяя дверь и входя.

Надо представить себе все удивление его племянника и племянницы при таком неожиданном появлении.

– Как, это вы, дядюшка?

– Да, это я, ваш старый дядюшка Скруг, и пришел к вам отобедать для праздника если только вы меня примете... Но позвольте прежде всего с вами похристосоваться, мои дети, как следует для праздника.

И они дружески обнялись, дядя и племянник, и три раза чмокнулись так, что раздалось на всю комнату. И веселый племянник уже начинал хохотать по-прежнему, на радостях... и расхохотался еще больше, когда пришел черед христосоваться его молоденькой жене, которая при этом вся покраснела и смешалась...

Да уж как им было весело! Скруг в первые пять минут уже чувствовал себя как бы дома и в своей семье. Хозяин и хозяйка, казалось, были так веселы, так счастливы, как никогда еще в жизни; открытое и светлое, тем менее еще ожиданное радушие Скруга до того увлекло их, что они даже позабыли свое удивление. Но вот начали съезжаться гости, вот и толстая кузина уже в летах, которая столько хохотала, и старая тетушка в длинной шали. Скруг узнал все лица и со всеми тотчас же ознакомился, а с иными успел даже почти подружиться, так все было просто, весело, радостно и ни в ком ни одной задней мысли на другого... И вот после обеда была та же музыка, и фанты, и жмурки, и он чувствовал, кажется, минуту, когда бы, казалось, начаться тем же разговорам про него и той же загадке "Скру-у-у-г", – как действительно и было бы, если бы он своим неожиданным присутствием заранее не оправдал себя и не отвел непременно текущую известным течением реку времени... И он невольно вздрагивал и едва переводил дыхание в такую минуту...

На следующее утро он был уже, как можно раньше, в конторе. И как уж он торопился, чтобы только прийти первому и поймать врасплох Кричева!

Вот бьет девять, а Кричева еще нет; еще четверть, три четверти, – а его все еще нет. Скруг нарочно стал у двери, чтобы видеть, как будет подходить Кричев.

Увидав своего грозного хозяина, он уже заранее снял шапку и начал заворачивать рукава, чтобы приготовиться к письму, вынул перо и в одну

Хомяков А. Светлое Воскресенье filosoff.org  
минуту уже сидел за столом, как будто надеялся нагнать потерянные три четверти часа и этим умилостивить Скруга.

– А! – закричал Скруг своим прежним сердитым голосом, насколько он только мог под него подделаться. – Что это значит, что вы так опоздали?

– Да, я опоздал немного, извините.

– Все извинять, – проговорил суровым голосом Скруг. – Извольте-ка подойти ко мне, сударь, поближе.

– Это только раз случилось в году и больше не повторится, вчера было Светлое Воскресенье...

– А я вот что скажу тебе, братец, – продолжал Скруг, – что я больше терпеть этого не намерен, а потому... – и с этими словами он вскочил со стула и ударили Кричева по плечу, – я намерен прибавить вам жалованье, сударь!

Кричев весь затрясся и начал понемногу отодвигаться к двери, думая, что ему скоро придется закричать: “Караул!”

– Ну так Христос Воскресе, Федя! – сказал Скруг, ударил его снова по плечу, и с таким веселым, улыбающимся лицом, что нельзя было больше сомневаться в истине его добрых намерений. – Христос же воскрес, мой добрый товарищ, – и с этими словами он обнял еще стоявшего в некотором недоумении Кричева. – Я удвою тебе твое жалованье и сумею поддержать твою семью; приходи сегодня же отобедать ко мне, и мы вместе перетолкуем о твоих делах. Да разведи-ка огонь побольше и вели привезти дров еще воза два.

Скруг сдержал свое слово: он исполнил обещанное, и еще больше, чем обещал. О маленьком Степе мы не знаем хорошенъко, остался ли он в живых или нет, но рассказывают некоторые, что Скруг был для него вторым отцом. И он стал хорошим родным, хорошим другом, добрым хозяином, добрым знакомым и добрым человеком, каких только поискать на белом свете. Иные подсмеивали его, видя в нем такую странную перемену; но он оставлял их смеяться и не обращал большого внимания. Он знал, что нет той истины и того добра на свете, над которыми не нашлись бы люди, чтобы посмеяться; он знал, что такие люди и без того насмеют себе морщины под глазами и у подбородка, и он не прибавит им ни одной морщинки больше. Сам же он выучился зато добром открытому смеху, который никогда заранее не состареет ничьего лица и не оставит на нем никакого недоброго следа, и сама душа в нем выучилась светло и весело глядеть и улыбаться всему великому Божьему миру, – а это все, что можно пожелать и каждому из нас.

Он больше не водился с духами по Светлым Воскресеньям. Но про него зато все говорили, что никто не умел быть так весел и счастлив в Светлое Воскресенье, как он, что никто не умел так хорошо праздновать его, с таким любящим вниманием и так много делать добра и помогать своему ближнему... с той любовью и кротостью христианина, которая требует, чтобы не ведала наша левая, что подает правая...

Дай-то Бог, чтобы и про каждого из нас мог всякий тоже сказать, что сумеем и мы сделать из каждого Божьего дня Светлое Воскресенье каждому последнему из наших страждущих братий – когда нас только ни призовет к нему его строгая нужда.. Помните, дал же когда-то такое обещанье в своем добродетельном порыве Скруг своему духу будущего и, как слышно, по мере сил и возможности сдержал слово. да обещает то же и каждый из нас тому душевному ангелу-хранителю, которого он избрал для своего будущего! И да благословит нас на такой подвиг всей жизни Господь наш, всех нас и каждого, большого и малого, – как то, помните, раз сказал маленький Степа.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfedor.ru/> Приятного чтения!